

## *Глава XV*

### **БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС И ПУТЕШЕСТВИЕ В АМЕРИКУ: 1958—1959**

В эпоху Хрущева пышные и торжественные «дружеские встречи» были обычным делом. В столицу то и дело наведывались лидеры братских компартий, и тысячи советских «энтузиастов», собранных по разнарядке, приветствовали их в огромных залах московских дворцов. Вот и 10 ноября 1958 года Хрущев принимал во Дворце спорта Владислава Гомулку и других польских руководителей. За два месяца до того правительство Восточной Германии потребовало, чтобы западные державы включили их страну в подписание мирного договора, тем самым узаконив статус-кво в Европе. Западная Германия в ответ предложила объединить две Германии с помощью свободных выборов. Ни то ни другое предложение не было новостью; за спинами двух Германий стояли Москва и Вашингтон, так что никаких сюрпризов не ожидалось. Однако 10 ноября Хрущев взорвал бомбу: «Очевидно, для участников Потсдамского соглашения настало время... нормализовать ситуацию в столице Германской Демократической Республики. Советский Союз, со своей стороны, готов передать правительству в Берлине те функции, которые сейчас исполняются советскими учреждениями... Если Соединенные Штаты, Франция и Англия заинтересованы в вопросах, касающихся Берлина... они должны достигнуть соглашения [с ГДР]. Что касается Советского Союза, мы чтим наши обязательства по отношению к нашему союзнику — ГДР...»<sup>1</sup>

В переводе на простой язык: если Запад не признает Восточную Германию, СССР нарушит Потсдамское соглашение, передав Вальтеру Ульбрихту свои полномочия по доступу к Западному Берлину. Если западные державы попытаются этому помешать, Москва начнет войну для защиты своего союзника.

Заявление Хрущева повлекло за собой спешные консультации в столицах западных держав. Посол США в СССР Льюэллин Томпсон, лучше многих знавший Хрущева, предположил, что тот пытается навязать Западу признание ГДР и запрет ядерного оружия для Западной Германии. Однако Томпсон и его западные коллеги «терялись в догадках», каким образом Хрущев надеется этого добиться. Быть может, он «настолько недооценивает Запад»? В Вашингтоне президент Эйзенхауэр пытался скрыть свои опасения под маской бравады. Интуиция, заявил он госсекретарю Кристиану Хертеру, подсказывает ему единственный ответ: «Если русские хотят войны за Берлин — они ее получают». Однако его администрация молчала, не желая выдавать своей нервозности<sup>2</sup>.

Вторая бомба взорвалась 27 ноября, на официальной пресс-конференции Хрущева. В четыре часа пополудни он вошел в овальный, отделанный красным деревом кабинет Совета министров в Кремле. Был День благодарения, и американские корреспонденты явились в последнюю минуту, прямо из-за праздничных столов. «Мы предприняли много шагов, чтобы снизить международную напряженность», — объявил Хрущев: он выглядел бодро, говорил «эмоционально и энергично». Однако западные державы «хотят сохранить напряженность, а не уничтожить ее». Западный Берлин превратился в «злокачественную опухоль». Вот почему, как сообщается в двадцать восьмой дипломатической ноте, разосланной этим утром западным послам, Советский Союз решил «предпринять хирургическую операцию». В ноте содержится ультиматум: либо западные страны подписывают мирный договор с ГДР и в течение шести месяцев превращают Берлин в демилитаризованный «свободный город», либо СССР передаст Восточной Германии свои полномочия регулировать доступ из Западной Германии в Западный Берлин<sup>3</sup>.

Эйзенхауэр получил новости в Огасте, штат Джорджия, где отмечал День благодарения вместе с семьей. Если Западный Берлин падет под советским давлением, сказал он сыну, «никто в мире не станет больше верить нашим обещаниям». А если попытки защитить Западный Берлин приведут к войне — что ж, «пусть Хрущев знает, что мы не станем с ним церемониться. Воевать — так воевать всерьез». Однако несколько дней спустя, трезво оценив ситуацию, президент заметил, что защита Берлина, расположенного в глубине Германии, — «тот случай, когда политическая необходимость заставляет нас предпринимать совершенно безумные в военном смысле действия», и что американская позиция по Берлину напоминает ему «банку, полную червей»<sup>4</sup>.

Хрущевский ультиматум положил начало долгому противостоянию, не закончившемуся и ко времени Карибского кризиса, разразившегося четыре года спустя. В первом приближении тактика Хрущева была оправдана: он наконец получил приглашение в США, которое перед этим все откладывалось, и согласие западных держав на проведение в мае 1960 года саммита по Берлину. Однако стратегически Хрущев совершил ошибку. Те уступки по Германии, которых он требовал, для Запада были попросту невозможны. Одностороннее подписание мирного договора угрожало и Западу, и Востоку. А попытка силой заставить Запад подчиниться вступала в противоречие с его собственным стремлением к снижению международной напряженности<sup>5</sup>.

Позже, в разговоре с американским сенатором Губертом Хэмфри, Хрущев признавался, что «несколько месяцев раздумывал над проблемой Берлина». Возможно, поэтому он не видел необходимости с кем-либо консультироваться. По словам Микояна, Хрущев вообще не обсуждал с коллегами свое заявление от 10 ноября, хотя это и было «грубейшим нарушением партийной дисциплины». Далее Микоян рассказывает, что он возразил и попросил Громыко представить соображения Министерства иностранных дел, в ответ на что Громыко пробормотал что-то невнятное. По утверждению одного из его помощников, Громыко «боялся Хрущева до неприличия», даже несмотря на то, что выслушивал его «разносы» в основном по телефону. Кроме того, Громыко прекрасно понимал, что его советов здесь не ждут. Немного ранее он представил Хрущеву докладную записку по Берлину. Министр уже поправил очки и начал читать меморандум, когда Хрущев не слишком вежливо его прервал: «Погоди, ты вот послушай, что я скажу — стенографистка запишет. Если совпадет с тем, что у тебя там написано — хорошо, а если нет — выбрось свою записку в корзинку». И, продолжает помощник Громыко Андрей Александров-Агентов, Хрущев «начал диктовать (как всегда, сумбурно и неряшливо, но достаточно ясно по смыслу) свою идею насчет провозглашения Западного Берлина “вольным демилитаризованным городом”»<sup>6</sup>.

По словам Олега Трояновского, незадолго до того ставшего помощником Хрущева по вопросам внешней политики, записка от 27 ноября была с небольшими поправками одобрена Президиумом — возможно, лишь потому, что его члены уже не осмеливались противоречить Хрущеву. Сам Трояновский высказал некоторые сомнения, опасаясь «получить от ворот поворот», — однако Хрущев внимательно

выслушал, а затем процитировал призыв Ленина 1917 года (в свою очередь, заимствованный у Наполеона) «ввязаться в бой, а там будет видно»<sup>7</sup>. Сергея Хрущева также одолевали сомнения: что будет, если американцы не захотят подчиниться? «Отец высмеял мои страхи и сказал, что из-за Берлина никто войну начинать не станет». Но что если шестимесячный срок ультиматума истечет, а Запад так и не выполнит требования СССР? «На это отец прямого ответа не дал. Сказал, что будет действовать по обстоятельствам, в зависимости от реакции партнеров. Он надеется, что хорошенько их напугает и они согласятся на переговоры». А если переговорами мы ничего не добьемся? — спросил Сергей. «Тогда попробуем что-нибудь еще, — с ноткой раздражения в голосе ответил отец. — Какой-нибудь выход обязательно найдется»<sup>8</sup>.

К 1958 году прошло пять лет с начала «разрядки». Хрущев открыл свою страну для западной культуры, несмотря на тот идеологический риск, которому подвергался режим; он отказался от сталинской концепции неизбежности новой мировой войны, сократил Вооруженные силы, вывел советские войска из Австрии и Финляндии, способствовал реформам в Восточной Европе.

Что же он получил взамен? Согласно Льюэллину Томпсону (который, несомненно, выражал не только точку зрения Хрущева, но отчасти и свою) — ничего. «Мы отвергаем его мирные предложения, — телеграфировал Томпсон в Вашингтон в мае 1959 года, — или обставляем свое согласие такими условиями, на которые он как коммунист пойти не может. Мы вооружаем Германию и усиливаем военные базы, окружающие территорию СССР. Наши предложения по решению германской проблемы, на его взгляд, ведут к разрушению восточного блока и угрожают прочности режима в самом СССР. Он предлагал сохранить в Европе статус-кво — это предложение мы тоже отклонили. Теперь он намерен решить проблему сам, не дожидаясь нашего согласия»<sup>9</sup>.

После паузы 1956 года, вызванной Венгерским и Суэцким кризисами, Хрущев продолжил обхаживать Запад. Булганин засыпал США письменными предложениями; в июне Даллес заметил, что, похоже, «русские наняли бюро рассылки». «Как лучший в мире эксперт по переговорам с русскими, — добавил он в декабре, — могу засвидетельствовать, что полагаться на Советы нельзя: они не выполняют своих обещаний»<sup>10</sup>. Западные державы действовали согласно его рекомендациям, так что ни переговоры по разоружению в

Лондоне, ни обмен мнениями по поводу Германии не указывали путь выхода из тупика.

Несмотря на столь мрачную ситуацию или, точнее, именно вследствие ее, с мая по декабрь 1957 года Хрущев дал западным журналистам не меньше восьми интервью, в которых обычное бахвальство ракетами чередовалось с предложениями переговоров. «Между нашими странами нет таких проблем, которые нельзя было бы решить», — говорил он 13 мая редактору «Нью-Йорк таймс» Тернеру Кэтледжу. Но, если полагаться на Даллеса и Громыко, «они и за сто лет ни о чем не договорятся». Когда его спросили, не хочет ли он посетить США, Хрущев с важностью ответил: «Как турист я поехать не могу, а как государственный деятель — сейчас не вижу смысла»; однако встреча с Эйзенхауэром, безусловно, была бы очень полезна, поскольку «я глубоко уважаю президента Эйзенхауэра и уже беседовал с ним лично»<sup>11</sup>. К ноябрю Хрущев заговорил решительнее: если его мирные предложения отвергаются, заявил он корреспонденту Юнайтед Пресс Генри Шапиро, «тем хуже для мира»<sup>12</sup>.

Интерес Хрущева к США особенно ярко проявился на роскошном кремлевском приеме в канун Нового, 1958 года, где присутствовала почти тысяча человек. Ужин начался около одиннадцати вечера и длился до семи утра. В отличие от прошлого Нового года, на котором Хрущев произнес столь враждебную речь, что послы западных держав принуждены были покинуть зал, на этом празднике царил радостная и дружелюбная атмосфера. В первый раз за много лет Хрущев предложил вспомнить войну и поднял тост «за союзников», особенно отметил помощь Соединенных Штатов, а закончил восхвалением Эйзенхауэра — единственного из западных политиков, которого он называл по имени. «О странах соцлагеря Хрущев и не вспомнил», — замечает югославский посол Мичунович.

Посол США Томпсон и его жена Джейн сидели за одним из боковых столов, лучами расходящихся от стола Президиума. Томпсон предупредил жену, что, если Хрущев снова начнет «выступать», она должна будет встать и выйти из зала вместе с ним. Миссис Томпсон плохо понимала по-русски и не уловила смысл речи Хрущева; поэтому, когда муж поднялся, она, нахмурившись и поджав губы, вскочила вместе с ним и приготовилась двинуться к выходу. Каково же было ее удивление, когда посол, широко улыбаясь, подошел к столу Хрущева и чокнулся с ним и со всем кремлевским руководством!<sup>13</sup>

Три недели спустя Юрий Гвоздев, советский разведчик,

работавший под прикрытием в советском посольстве в Вашингтоне, спросил одного американца, имевшего связи в правительстве: как тот считает, возможно ли организовать неофициальный визит Хрущева в Вашингтон для разговора с Эйзенхауэром? Согласится ли на это правительство?

— Вы хотите сказать — совершенно неформальный визит, без переговоров, без вопросов, вынесенных на обсуждение? — уточнил американец.

— Именно, — ответил Гвоздев. — Мистер Черчилль и главы многих других государств приезжали сюда, чтобы пообщаться с президентом неофициально... На такой же основе хотел бы приехать и Хрущев.

— А вы откуда это знаете? — поинтересовался американец.

— Знаю! — уверенно ответил тот. — Могу вам сообщить, что наше правительство ищет способ получить такое приглашение. Для Хрущева это очень важно<sup>14</sup>.

В первой половине 1958 года Хрущев начал проявлять нетерпение. В тот самый день, когда прошупывал почву разведчик Гвоздев, Хрущев в Минске произнес в адрес США пламенную обличительную речь. К тому времени Булганин написал Эйзенхауэру еще два письма с предложением саммита (а также запрета на испытания ядерного оружия, на ядерные бомбы для ФРГ и предложением серии культурных обменов). Даллес охарактеризовал эти предложения как «колыбельную мистера Хрущева», и Эйзенхауэр ответил, что предпочитает общаться по регулярным дипломатическим каналам<sup>15</sup>.

«Чего хотят от нас Эйзенхауэр и Даллес? — гневно вопрошал Хрущев. — Разрушить социалистический строй? Того же хотел и Гитлер — но ему это не удалось, и американцев ждет та же судьба»<sup>16</sup>. А в марте Хрущев уже публично запрашивал приглашение: «Расстояние от нас до Америки не такое уж огромное. Можно позавтракать здесь, пообедать в самолете, а поужинать в США»<sup>17</sup>.

Тем временем события шли своим чередом. Казнь Имре Надя вызвала на Западе выступления протеста, на которые советские граждане «по собственной инициативе» ответили демонстрациями<sup>18</sup>. В июле был убит прозападно настроенный король Ирака Фейсал II; Вашингтон и Лондон ввели войска в Ливан и Иорданию, в ответ на что Хрущев пригрозил применить силу для защиты «иракской революции». По словам Сергея Хрущева, поначалу отец нервничал, но быстро обрел спокойствие: «В пылу схватки он чувствовал себя как рыба в воде». Президенту Египта Насеру, прибывшему в Москву в разгар кризиса, Хрущев заметил: «Ситуация очень

опасна, и, думаю, победит тот, у кого крепче нервы». Вообще Хрущев любил «игру на скорость — когда приходится действовать очень быстро, не задумываясь о том, что собирается сделать противник. Все равно что играть в шахматы в темноте»<sup>19</sup>.

Еще более усугубил напряженность в отношениях Востока и Запада Тайваньский кризис осени 1958 года. Вначале Хрущев заявлял, что нападение на Китай СССР будет рассматривать как нападение на себя, а уже под конец кризиса отправил Эйзенхауэру такое грубое письмо, что президент вернул его как неприемлемое. При этом советский лидер не переставал добиваться саммита — отчасти, как объяснял он Мичуновичу 8 октября, потому, что Советскому Союзу «очень нужен мир на ближайшие лет пятнадцать — двадцать», после которых «никто уже не сможет начать войну, даже если захочет», в том числе потому, что «снятие напряжения в Европе... ослабит систему доминирования США в мире, ослабит военных союзников США и их военные базы, а это вызовет политические проблемы в самих Соединенных Штатах»<sup>20</sup>.

Двумя днями ранее на даче у Хрущева в Пицунде гостил Эрик Джонстон, президент Американской киноассоциации: у этого человека были хорошие связи в правительстве США, в свое время он выполнял роль эmissара Рузвельта у Сталина. Хрущев приглашал Джонстона остаться на ночь, а наутро отправиться на охоту, но тому надо было возвращаться в Москву. Во время этой встречи Хрущев несколько раз повторил, что хотел бы увидеться с Эйзенхауэром: «Знаете, он мне по-настоящему нравится. На Женевской конференции мы с ним каждый вечер после переговоров ходили в бар и выпивали вместе. Надеюсь, он в добром здравии. Хотелось бы мне посидеть с ним и потолковать»<sup>21</sup>.

По-видимому, и берлинский ультиматум Хрущева был не чем иным, как средством вытащить Эйзенхауэра за стол переговоров. К осени 1958 года, вспоминает Трояновский, в отношениях между Востоком и Западом так и не случилось «прорыва»: напротив, «на некоторых политических направлениях положение... ухудшилось». Западная Германия «вооружалась быстрыми темпами и все прочнее вовлекалась в западный военный блок. Гонка вооружений наращивала обороты и была готова вырваться в космос. В переговорах о сокращении вооружений стороны топтались на месте, а расходы на вооружение ложились все более тяжелым бременем на экономику нашей страны. Восточная Германия по-прежнему находилась в изоляции и подвергалась различным формам давления. Вдоль периметра СССР множились амери-

канские военные базы, новые военные базы создавались в Азии и на Ближнем Востоке». В дополнение ко всему прочему, росла напряженность в отношениях с Китаем, и, по Трояновскому, «все громче раздавались голоса о том, что, если придется выбирать между Западом и Китаем, лучше выбрать Китай».

Перспектива получения ФРГ ядерного оружия, по словам Трояновского, стала последней каплей. «Было очевидно, что, если бы это произошло без сопротивления со стороны Кремля, престиж Хрущева покатился бы вниз». Кроме того, Трояновский подозревал, что его босс все еще жаждал доказать Молотову и его единомышленникам свою правоту в вопросе о Германии<sup>22</sup>.

Ввязываясь в рискованную игру, Хрущев недостаточно ясно представлял, какие препятствия ждут его на пути. Он догадывался, что восьмидесятидвухлетний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр будет «вставлять ему палки в колеса», однако явно недооценивал «старого лиса»<sup>23</sup>. По сравнению с Восточной Германией Западная процветала, однако неопределенное положение Западного Берлина и сомнения в поддержке НАТО делали Аденауэра уязвимым. Он стремился интегрировать ФРГ в Западную Европу, но понимал, что при этом рискует потерять возможность объединения Германии. Аденауэр жестко отвергал любые предложения о признании ГДР; его непреклонность выводила из себя Эйзенхауэра (а затем и Кеннеди), однако, понимая значение ФРГ, Вашингтон по большей части поддерживал Аденауэра.

Де Голль опасался, что отказ западных держав от Берлина вызовет нейтрализацию Германии и, в дальнейшем, советско-германский союз. Президент стремился восстановить положение Франции как великой мировой державы, и для этого ему требовалась помощь Аденауэра. Кроме того, он понимал Хрущева лучше, чем кто-либо из его западных коллег, и ясно видел, что советский лидер блефует — он не станет затевать войну. Поэтому в разразившемся кризисе де Голль занимал еще более жесткую позицию, чем Аденауэр.

Главной надеждой Хрущева в западном лагере стала Британия. Ее премьер-министр Макмиллан опасался войны, а подавляющее большинство англичан полагало, что вопрос о том, какая власть — советская или восточногерманская — будет ставить печати на документах в Берлине, не стоит ядерной катастрофы. Кроме того, приближались выборы, и консерваторам требовалась народная поддержка. Вот почему



британцы готовы были признать Восточную Германию и заключить новые соглашения касательно Берлина. Однако они оказались в меньшинстве<sup>24</sup>.

Эйзенхауэр полагал, что капитуляция перед Хрущевым дестабилизирует положение в ФРГ, расколет НАТО и ударит по престижу США. Однако он, как и Хрущев, страшился эскалации международной напряженности и стремился к разрядке. Его пугала перспектива ядерной войны, в которой, по оценкам американских военных, при первом же ракетном ударе будет убито или ранено до 65 % процентов населения США и полностью разрушена инфраструктура страны<sup>25</sup>.

Надо заметить, что эти цифры были сильно преувеличены: расчеты основывались на блефе Хрущева, а не на реальном состоянии советских ядерных вооружений. В этом плане уловка Хрущева отчасти удалась; правда, ему не удалось обмануть Даллеса — но Эйзенхауэр поверил ему и искренне надеялся, что советский руководитель «предпочтет дружбу»<sup>26</sup>.

К началу 1958 года Эйзенхауэр чувствовал себя не слишком уверенно. США проигрывали пропагандистскую войну и, что еще хуже, теряли шанс на примирение с СССР. 9 февраля Эйзенхауэр признался Даллесу, что он «в отчаянии». Может быть, пригласить Хрущева в США? Не стоит, возразил Даллес; «никто не поверит, что вы не собираетесь вести с ним переговоры». Тогда, продолжал Эйзенхауэр, может быть, пригласить других лидеров КПСС, не занимающих государственных постов? С ними никаких официальных переговоров быть не может: «просто покажем им страну». В ответ Даллес процитировал закон, запрещающий въезд в страну коммунистам без санкции генерального прокурора или государственного секретаря. Наконец Эйзенхауэр предложил пригласить десять тысяч советских студентов для обучения в американских учебных заведениях. «Мы не сможем уследить за таким количеством молодежи», — ответил Даллес, и Эйзенхауэр вынужден был с ним согласиться — однако продолжал «искать любые средства, способные снизить напряженность»<sup>27</sup>.

Наконец, не уделяя Хрущев должного внимания и своему восточно-германскому союзнику. У Ульбрихта были свои интересы: он стремился к признанию на Западе, но еще больше стремился заполучить Берлин. Западный Берлин был для него не политическим рычагом, как для Хрущева, а желанным призом. Ульбрихт постоянно требовал от СССР экономической помощи — и Советский Союз помогал, чем мог, при том что его собственная экономика находилась не в лучшем состоянии. Благодаря особым внутригерманским

соглашениям Восточная Германия получила доступ к западным рынкам. Потеря этой возможности больно ударила бы не только по режиму Ульбрихта, но и по положению самого Хрущева — не говоря уж о том, что эскалация конфликта потребовала бы повышения расходов на оборону. И это в то самое время, когда Хрущев стремительно сокращал Вооруженные силы!

Лидеры западных держав не знали, блефует ли Хрущев, и предпочли принять меры, чтобы доказать ему, что они-то точно не блефуют. Они подтягивали к границам Германии войска и готовились прокладывать себе путь на Берлин. Но Хрущев был уверен, что, даже если начнется стрельба и беспорядки, как в ГДР образца 1953 года, войны удастся избежать. А если нет? Его общая стратегия (если она вообще заслуживает такого названия) была странной с самого начала. Однако больше года такая тактика действовала.

Поначалу реакция Запада на берлинский ультиматум Хрущева была осторожной. Ни Великобритания, ни Франция не были готовы к применению силы — пусть и в ограниченных масштабах. В любом случае, они предпочитали сперва испробовать мирные средства. Эйзенхауэр и Даллес готовы были рассматривать восточногерманских пограничников как советских агентов, но после возражений со стороны ФРГ отступили. Вопрос о том, в каком случае и в каком объеме применять военную силу, требовал расширенных консультаций союзников. Но прежде всего, как заявил Эйзенхауэр 11 декабря, «главная наша задача — понять, чего хочет Хрущев»<sup>28</sup>.

Сенатор Губерт Хэмфри попытался это выяснить. Его встреча с Хрущевым, затянувшаяся на восемь часов, по его собственным словам, была, наверное, самой бурной в истории холодной войны.

1 декабря 1958 года сенатор Хэмфри прибыл в Кремль для разговора с Хрущевым, который, по расписанию, должен был начаться в 15.00 и продолжаться час. В разговоре Хэмфри пытался понять, чего хочет Хрущев, а Хрущев, по словам Трояновского, столь же решительно пытался выяснить желания и намерения Эйзенхауэра и Даллеса<sup>29</sup>. Оба оратора отличались кипучим темпераментом, и ни один не хотел заканчивать разговор, не добившись четкого ответа на свои вопросы. Через полтора часа Хэмфри заметил, что время переговоров истекло, но Хрущев настоял на продолжении беседы. Сидя друг против друга за длинным столом в

кремлевском кабинете, в присутствии одного лишь Трояновского, они проговорили без перерыва до семи часов вечера. Хрушев приказал подать ужин, затем вызвал Микояна — и беседа продолжалась до одиннадцати.

Когда разговор наконец был окончен, несгибаемый Хэмфри едва сдерживал свою радость. Во-первых, он выжил. «Я — единственный американец, который три раза за один день ходил в туалет в Кремле», — шутил он впоследствии. Во-вторых, ему понравился Хрушев. «У этого парня отличное чувство юмора, и он очень умен, очень умен. Поверьте мне, вы не с ничтожеством имеете дело. Ему палец в рот не клади». Особенно когда дело доходит до США: «Этот парень так разбирается в наших делах [имеется в виду политическая ситуация в Нью-Йорке, Калифорнии и Миннесоте, в том числе выборы Юджина Маккарти, которого Хрушев назвал “этим новым Маккарти”], как хотел бы разбираться я сам!» В какой-то момент хозяин Кремля разразился «длинной речью — хотел бы я ее запомнить или записать! Это была лучшая антирасистская речь, какую я когда-либо слышал!.. Мы с ним поладили. Он мне понравился, несмотря ни на что».

Мы не знаем, вызвал ли Хэмфри ответное восхищение у Хрущева. Однако известно, что встреча была вовсе не безоблачной. Порой переговоры принимали жесткий и даже пугающий характер. Во время спора Хрушев выдал «секрет, о котором еще ни один американец не слышал» — что СССР недавно взорвал пятимегатонную водородную бомбу. А еще у Советского Союза есть новая ракета с такой дистанцией полета (9 тысяч миль), что ее негде испытать. Лукаво улынувшись, Хрушев спросил у Хэмфри, где тот родился, и, встав из-за стола и подойдя к висящей на стене большой карте США, обвел Миннеаполис голубым карандашом. «Чтобы я не забыл приказать пощадить этот город, когда мы пустим ракеты», — объяснил он.

Хэмфри извинился за то, что не может ответить такой же любезностью и распорядиться пощадить Москву.

Раз двадцать или больше советский лидер возвращался к Берлину: называл его «колючкой», «раковой опухолью», «костью в горле» — разве что не назвал «яйцами Европы», как в 1962 году<sup>30</sup>. «Мы здесь не в игрушки играем», — говорил он Хэмфри; да и советские войска в Восточной Европе «не картишками балуются». Хрушев не повышал голоса, но наклонялся вперед, стучал кулаком по столу, маленькие глазки его гневно сверкали, голос звучал резко и отрывисто.

Но Хэмфри оказался не из тех, кого легко запугать. Он без видимых усилий парировал шпильки в адрес своей стра-

ны (например, на замечание Хрущева об экономических проблемах в США пожал плечами и спокойно ответил: «Честное слово, не понимаю, о чем это вы»), на шутки отвечал шутками, на резкости — резкостями. Хэмфри заметил, что такие полушутливые перепалки Хрущеву нравятся; однако, когда он сказал, что США не позволят угрожать Берлину, Хрущев принял это на свой счет и несколько раз сердито повторил: «Вы мне не угрожайте!»

Хэмфри обнаружил, что Хрущев «держит в памяти список всех американских генералов, сказавших о нем хоть одно дурное слово» — особенно рассуждавших о том, что и как будут делать американцы, если начнется война. «Всякий раз, когда вы говорите что-то подобное, — заметил Хрущев, — я должен отвечать». Однако сам он понимал, что этот обмен оскорблениями непродуктивен, и стремился перейти к более спокойному разговору; поэтому и в его беседе с Хэмфри жесткие слова и угрозы соседствовали с предложением «жить дружно». Надо только решить берлинскую проблему, говорил он, — тогда «все наладится». Если Запад недоволен советскими предложениями — «пусть выдвигает встречные. Мы готовы принять любое разумное предложение. Что вы предлагаете?»

Он «очень хочет саммита и мечтает о приглашении в Америку», — рассказывал позже Хэмфри высокопоставленным лицам из администрации президента. Разумеется, советский лидер не говорил об этом прямо — но темы, выбираемые им для светской беседы, говорили сами за себя. Он любит путешествовать; ему очень понравилось в Англии; Микоян (которого Хрущев постоянно поддразнивал) был в Америке и узнал там много интересного. «Представляю, сколько я смогу узнать, если туда поеду», — добавил Хрущев.

Личные впечатления сенатора от Хрущева были двойственны. «Этот человек не уверен в себе, он убежден, что мы — большая, богатая страна, и... это не дает ему покоя». Он «защищается, нападая, борется с неуверенностью в себе, демонстрируя сверхсамоуверенность, но выдает себя преувеличениями». Любимые слова Хрущева, замечал Хэмфри, — «дурацкий» и «дурак». Он несколько раз повторил, что «в современном правительстве дуракам не место». Например, таким дуракам, как «антипартийная» группа: «“Они думали, что со мной справятся!” — говорит он, расплывшись в улыбке. И принимается об этом рассказывать — точь-в-точь охотник, который хвастает добычей. “Знаете, что я сделал? — говорит он. — Сразу собрал пленум ЦК: и я вам скажу, сенатор, я был так убедителен, что даже эти семеро [ко-

которые сначала голосовали против него] в конце концов проголосовали 'за'»).

Больше всего Хрущев боялся, что американцы примут его за дурака. Хэмфри рекомендовал администрации внимательно изучить личность Хрущева и составить его психологический портрет: «Рассказы тех, кто с ним общался, следует изучать не дипломатам, а психоаналитикам». Однако те же качества Хрущева, которые требовали осторожности, открывали для американцев блестящие перспективы: «Этот человек нам подходит... Именно такой человек, с которым сможет вести дела кто-нибудь вроде Айка».

Угрожая Эйзенхауэру, Хрущев в то же время опасался, что американский президент примет его угрозы слишком уж всерьез. Скоро Гвоздев передал вице-президенту Никсону новое послание: «Не беспокойтесь о Берлине. Войны из-за Берлина не будет». А месяц спустя, в декабре, заметил, что Хрущев «очень заинтересован» в визите Никсона в СССР и «возлагает большие надежды на этот визит в свете решения берлинской проблемы». Вскоре от администрации президента пришел ответ: Никсон может приехать, если на берлинском фронте «наступит период относительного спокойствия»<sup>31</sup>.

Два месяца после объявления ультиматума не принесли никакого прогресса. «Прошла треть отмеренного срока, — пишет Сергей Хрущев, — и ничего не изменилось. Отец начал нервничать». По словам Трояновского, Хрущев «оказался как бы на перепутье: ему было неясно, что же делать дальше». Теоретически он мог использовать переговоры как предлог для оттяжки срока исполнения ультиматума. Однако после высказанных им угроз переговоры казались невозможными<sup>32</sup>. Как заставить Эйзенхауэра начать переговоры, не отзывая своих угроз? Ни советский посол в США Михаил Меншиков, ни министр иностранных дел Громыко не подходили для выполнения такой деликатной задачи, и Хрущев остановил свой выбор на давнем кремлевском коллеге — умном и проницательном Анастасе Микояне. Вот кто поедет в Вашингтон! «Ты эту кашу заварил, ты и расхлебывай! — резко ответил ему поначалу Микоян. — Да меня никто туда и не приглашал». — «Нет, я ехать не могу, — возразил Хрущев. — Я глава страны. А ты поедешь как личный гость Меншикова»<sup>33</sup>.

Микоян отправился в Америку в начале января. Помимо Вашингтона, его маршрут включал в себя Нью-Йорк (где он встретился с представителями деловых кругов), Чикаго (где

его забросали яйцами), Лос-Анджелес (где демонстранты несли открытый гроб с надписью «Для Микояна»). Микоян дал бесчисленное множество пресс-конференций, вопросы на которых можно назвать как угодно, только не «дипломатическими». «Представляю себе, как бы реагировал на это Хрущев!» — восклицает Трояновский, сопровождавший Микояна в США. «Но у Микояна был свой стиль — ирония, сарказм, юмор или спокойное опровержение»<sup>34</sup>.

В переговорах с Эйзенхауэром, Даллесом и Никсоном Микоян пытался снизить градус международной напряженности. Он почти умолял их понять, как изменился СССР со времен смерти Сталина, заверял, что Москва не собирается подрывать позиции Запада в Берлине, уверял, что новые предложения СССР — не ультиматум и не угроза. Кремль, говорил он, хочет только переговоров — однако «не встречает со стороны США ничего нового»<sup>35</sup>.

Из Америки Микоян привез двойственные вести. Видные бизнесмены, с которыми он встречался (например, Аверелл Гарриман и Джон Дж. Маклой), мыслили вполне трезво. Даллес намекнул, что свободные выборы — не единственный путь к объединению Германии, а Эйзенхауэр положительно отнесся к идее встречи министров иностранных дел. Однако президент отказался от саммита и ни на дюйм не сдвинулся по отношению собственно к Берлину. По словам Сергея Хрущева, эти переговоры «не только разочаровали отца, но и заставили его ощутить свою уязвимость». Однако «рассказы Микояна о США он вспоминал с улыбкой. Рано или поздно, говорил он, американцы согласятся сесть за стол переговоров»<sup>36</sup>.

Следующей надеждой Хрущева стал Гарольд Макмиллан. Британский премьер-министр страшился войны и готов был на многое, чтобы ее избежать; поэтому он напросился в Москву, воспользовавшись приглашением, которое сделали его предшественнику Хрущев и Булганин еще во время своего визита в Англию в 1956 году.

Вашингтону эта инициатива пришлась не по вкусу. Эйзенхауэр и Даллес опасались, что британцы «готовы размякнуть». Макмиллан позже настаивал, что получил от американцев карт-бланш на переговоры; на самом деле Даллес заявил, что, если Макмиллан поедет в Москву, пусть говорит только от своего имени<sup>37</sup>.

Хрущев встретил гостя со всей теплотой, какая только была возможна в заснеженной Москве. 21 февраля, когда Мак-

миллан (в черном зимнем пальто и белой шапке-ушанке, в которой он ходил еще в 1940-м, когда работал в английском посольстве в Хельсинки) прилетел в Москву, Хрущев встречал его в аэропорту<sup>38</sup>. После роскошного обеда в Кремле они отправились в Семеновское, где катались по заснеженным полям на тройке, стреляли куропаток и даже съехали вдвоем на санках с ледяной горы. Хрущев с удовольствием демонстрировал свое гостеприимство. Позже изысканно вежливый Макмиллан замечал, что катание на санках «одни восприняли с улыбкой, а другие — с изумлением. По мнению экспертов, это означало высокую степень близости»<sup>39</sup>.

Макмиллан лестно отозвался о деятельности Хрущева во время войны; тот встретил его комплименты «сияющей, почти пиквикской улыбкой»<sup>40</sup>. Но когда премьер начал защищать права западных держав в берлинском вопросе и отверг идею летнего саммита, Хрущев вспылil. Если Запад не желает принимать советскую позицию, заявил он за обильным (не только едой, но и выпивкой) обедом, «то переговоры придется вести мертвецам с мертвецами». Обычно сдержанный Макмиллан ответил не менее резко: «Не пытайтесь нам угрожать, иначе развяжете Третью мировую войну». Тут Хрущев вскочил на ноги с криком: «Вы меня оскорбили!»<sup>41</sup>

И в ответ оскорбил Макмиллана сам. Советский лидер собирался сопровождать премьер-министра в Киев, «увлеченно расписывал гостеприимство киевлян и красоту Днепра». А теперь вдруг объявил, что в Киев не поедет, потому что у него разболелся зуб. «Страшно болит зуб, — пожаловался Хрущев, — а что толку от главы государства с зубной болью?» Зубная боль не помешала ему в тот же день принять иракскую делегацию. Британские таблоиды окрестили это происшествие «зубным оскорблением», а одна из газет охарактеризовала всю поездку Макмиллана как «монументальный провал»<sup>42</sup>.

Макмиллан признал необходимость пойти на уступки. Переговорив со своим секретарем по иностранным делам Селвином Ллойдом, он решился на серьезный разговор с самим Хрущевым. («Вообразите себе, — писал он позже, — двое пожилых, если не сказать, старых политиков, закутанные до бровей в меховые шубы, в меховых шапках и неизбежных галошах, в сопровождении советников бродят взад-вперед по засыпанному снегом саду, погруженные в долгий и нелегкий разговор! Это было бы смешно, если бы вся ситуация не была столь опасна».) Во время того разговора Макмиллан сформулировал два ключевых пункта своей позиции и попросил Хрущева «хорошенько их обдумать. Во-

первых: ситуация в Германии опасна и может окончиться трагически для всех нас. Во-вторых: этой трагедии можно избежать, если мы согласимся сотрудничать друг с другом и прислушиваться к голосу разума»<sup>43</sup>.

«Наступила пауза, — продолжает Макмиллан, — во время которой Громыко и Микоян поглядывали то друг на друга, то на своего босса». Неудивительно! Премьер-министр озвучил именно ту точку зрения, которую повторял едва ли не в каждой своей речи сам Хрущев. Если именно с этой мыслью Макмиллан вернется домой, Москва сможет сказать, что его поездка принесла пользу.

В результате этого визита Хрущев сумел, не теряя лица, отказаться от назначенного первоначально срока ультиматума — 27 мая. Если Западу не нравится 27 мая, заметил он с показной небрежностью, пусть назначат другое число, которое их больше устраивает — в июне или в июле: «Нам торопиться некуда»<sup>44</sup>. Если на саммит Запад не согласен — как насчет встречи министров иностранных дел, которая начнется где-нибудь в конце апреля и продолжится не менее двух-трех месяцев? Если к 27 мая переговоры будут идти всю, срок ультиматума отодвинется автоматически.

Англичане были буквально заворожены поведением Хрущева. Он «подавлял всех своих коллег», кроме Микояна, который «держался со спокойным достоинством второго человека в государстве», в то время как прочие «поглядывали на него с осторожным почтением». Хрущев «говорил без бумаг, не делал записей и, кажется, совсем не консультировался со своими коллегами». Он «прекрасно схватывал детали», однако «изложение сложной или тонкой логической аргументации не всегда ему удавалось». Он проявлял «определенную враждебность к интеллектуальности» и «заметную эмоциональность» в своих реакциях. В нем чувствовалось «острое сознание своей силы» наряду с «глубоко засевшим комплексом неполноценности... Чрезвычайно чувствительный к любым мелочам», он едва не взорвался, когда Макмиллан и Ллойд проявили невежливость, позволив себе шептаться друг с другом, пока переводчик переводил им слова Хрущева<sup>45</sup>.

Высококультурный и дипломатичный Трояновский был «изумлен» тем, как «агрессивно и провокационно» вел себя Хрущев со своим гостем. После одного заседания, где Хрущев открыто и резко нападал на Макмиллана, он довольно заметил своему помощнику, что «отымел [он употребил более грубое слово] англичанина», а затем добавил, словно извиняясь: «Вы человек культурный, вам, должно быть, неприятны такие выражения»<sup>46</sup>.



Хрущев не мог не понимать, что перенесение сроков ультиматума, по сути, означает поражение. Его блеф удался лишь наполовину, и, хотя он и стремился убедить себя и коллег в своей победе, «глубоко в душе», по словам сына, понимал, что проигрывает<sup>47</sup>.

Министры иностранных дел собрались в Женеве 11 мая. В тот же день, произнося речь на Украине, Хрущев позволил себе эйфорическое заявление: «Обязательно состоится встреча глав государств». Макмиллан, продолжал Хрущев, уже согласен, а Эйзенхауэр и де Голль непременно согласятся. Международное положение Советского Союза «стало лучше, чем когда бы то ни было раньше»<sup>48</sup>.

Однако к середине июня министры иностранных дел зашли в тупик. Западные державы были готовы освободить Берлин из-под своей «опеки» (они по-прежнему требовали проведения в Германии свободных выборов) и изменить свою роль в Берлине, сократив гарнизоны и подписав новые соглашения; однако не желали ни отказываться от своих основных прав, ни признавать Восточную Германию. СССР готов был признать промежуточное соглашение, оставляющее за Западом прежние права на время переговоров между двумя Германиями, однако Громыко не мог гарантировать, что эти права останутся в неприкосновенности после достижения соглашения — что означало, что угроза аннулировать права Запада по-прежнему висела в воздухе.

Еще до 11 мая Эйзенхауэр объявил необходимым предварительным условием саммита достижение прогресса на переговорах министров. Он не определил, что именно понимает под прогрессом: однако то, что в Женеве никакого прогресса достигнуть не удалось, сомнений не вызывало. Спрашивается: почему Хрущев не предложил сделку? В Женевской конференции участвовали наблюдатели от Восточной Германии (после мучительных споров о форме стола, за которым они должны были сидеть вместе с наблюдателями от ФРГ) — это говорило о фактическом признании. Более того, Ульбрихт рассматривал встречу министров как достижение, что же до окончательного урегулирования (как он говорил Хрущеву в марте) — для этого потребуются годы, может быть, даже десятилетия. Хрущев, а не Ульбрихт, торопил созыв саммита<sup>49</sup>. Если очевидно, что урегулирования ждать еще как минимум год или два, — почему бы не гарантировать Западу, что о его правах никто не забудет?

Возможно, у Хрущева было искушение так и поступить. Согласно госсекретарю США Гертеру, до 7 июня позиция СССР была достаточно гибкой, а затем вдруг ужесточилась. После своих громких угроз Хрущев не мог сдать назад — это выглядело бы как сдача позиций. Из-за собственной тактики он оказался в ловушке; однако из этой ловушки виделся выход. Никакого кризиса нет, объявил он 7 июня. Если министры иностранных дел не придут к согласию, возможно, оно будет достигнуто на саммите. Если и там ничего не выйдет — что ж, пусть решает «мировое общественное мнение». «Если это необходимо, — великодушно добавил Хрущев несколько дней спустя, — я с удовольствием встречусь не один раз с главами правительств западных держав»<sup>50</sup>.

23 июня Хрущев принял у себя Аверелла Гарримана и имел с ним еще один долгий разговор, начавшийся в Кремле в 13.00. Хрущев встречал гостя в мешковатом сером пиджаке с тремя наградами на груди — двумя слева и одной справа, — в галстуке в серый и красный горошек и с большими красными запонками на рукавах; выглядел он «усталым»<sup>51</sup>. Через полтора часа встречу перенесли на дачу Хрущева в Ново-Огарево, где она и продолжалась до половины одиннадцатого, причем последние пятнадцать минут Хрущев простоял в дверях, не желая, чтобы за гостем оставалось последнее слово.

В разговоре с глазу на глаз Хрущев был далеко не так безмятежен, как в публичных выступлениях. Зная, что Гарриман происходит из хорошей семьи и очень богат, он, по-видимому, ощутил необходимость защитить себя и потому начал с характеристики своих бывших соперников и нынешних коллег. «Сам я шахтер», сообщил он, отец Микояна был «водопроводчиком», а Козлов, «хотя он и не из таких низов, как мы», был «беспризорником». Маленков — «дерьмо, цыпленок», Берия тоже «был дерьмом»; один Молотов заслуживал уважения. Многие считают Кириченко очевидным наследником Хрущева; однако Хрущев предостерег Гарримана от подобных умозаключений. «Я к своим прерогативам отношусь очень ревниво, — искренне объяснил он, — и буду руководить партией, пока я жив. Не надейтесь меня похоронить!»

— Но ведь ваше слово для Президиума закон, верно? — спросил Гарриман.

— Верно, — ответил Хрущев, — но нет такого закона, который нельзя было бы обойти.

Такую же пылкость он проявил и в международных отношениях. «Не думайте, что Советский Союз все еще в лап-

тях ходит, как в те времена, когда царь вам Аляску продал. Мы готовы драться». СССР хочет дружбы с Америкой, «но не от слабости. Если вы попытаетесь говорить с нами с позиции силы — мы ответим тем же».

Как обычно, от обороны Хрущев быстро перешел к нападению. Для Бонна «хватит» одной бомбы, для Англии, Франции, Испании и Италии — трех, четырех или пяти. Если Гарриман в этом сомневается, пусть сравнит грузоподъемность ракет: американская ракета поднимает боеголовку всего в 22 фунта, а советская — в 2860 фунтов.

К чести Гарримана, он не молчал. Угрозы Хрущева он назвал «чудовищно опасными». Он выразил надежду, что на следующей встрече министров, которая состоится 13 июля, господин Громыко будет более уступчив. На это Хрущев проворчал, что Громыко будет проводить позицию советского правительства — иначе его «уволят и назначат нового». И начался новый раунд угроз: Западную Германию «уничтожим за десять минут». Одной бомбы хватит: «Бонн и Рур — это вся Германия, Париж — вся Франция, Лондон — вся Англия. Вы окружили нас своими базами, но наши ракеты их уничтожат. Если вы начнете войну, мы, возможно, погибнем, но ракеты запустятся автоматически».

«Можете передать кому хотите, — продолжал Хрущев, — что мы никогда не признаем Аденауэра представителем Германии. Он — круглый ноль, ничтожество. Спустите с Аденауэра штаны и посмотрите на него сзади — увидите, что Германия разделена. Посмотрите спереди — увидите, что Германия не устоит».

И далее: «Да, мы намерены ликвидировать ваши права в Западном Берлине. Зачем вам в Берлине одиннадцать тысяч вооруженных солдат? Если дойдет до войны, мы их проглотим одним глотком... Ваши генералы говорят, что будут защищать Берлин танками и пехотой. Да одна бомба от них ничего не оставит!»

На бумаге тирады Хрущева выглядят совсем по-гитлеровски. Однако, по рассказу Гарримана, советский лидер «во время разговора был настроен добродушно, постоянно улыбался, часто произносил тосты — пил он в основном коньяк, и в немалом количестве — и беспрерывно восхвалял [Гарримана] как великого капиталиста». И все же продолжал угрожать войной. Другой на его месте побоялся бы дразнить США — сам Сталин старательно избегал блефа, ставшего визитной карточкой его преемника, — однако Хрущев знал (или думал, что знает), как далеко можно зайти с Эйзенхауэром.

8 июля, когда состоялась пресс-конференция Эйзенхауэра, в прессе уже появились первые отчеты о встрече Гарримана с Хрущевым. Когда президента спросили, что он думает о поведении Хрущева, тот спокойно ответил: «Честно говоря, ничего об этом не думаю. Я не верю, что ответственный человек станет позволять себе что-то хоть отдаленно похожее на ультиматумы или угрозы. Таким путем мирные решения не достигаются»<sup>52</sup>.

Правда, спокойствие президента было обманчивым. От непредсказуемости Хрущева его бросало то в жар, то в холод. Когда Макмиллан предлагал организовать встречу на высшем уровне, Эйзенхауэр заявил, что не позволит «силом тащить себя за стол переговоров». Однако, «судя по тому, что происходит, — добавил он 7 апреля своим советникам, — у нас нет надежды на будущее, если мы не достигнем успеха с помощью переговоров — а ведь со встречи в Женеве прошло уже четыре года»<sup>53</sup>.

Эйзенхауэр не понимал поведения Хрущева. «Вы читали эту [хрущевскую] речь? — спросил он репортеров на пресс-конференции в феврале 1959 года. — Что он говорит о нашем народе!..» На вопрос, как оценивает президент поведение Хрущева во время визита Макмиллана, Эйзенхауэр ответил, что сам «долго искал ответ на этот вопрос»<sup>54</sup>.

Президент гордился своим умением распознавать людей в беседе с глазу на глаз. Накануне визита Микояна он надеялся, что «мы проникнем в мысли друг друга и поймем, каковы наши истинные намерения. Скрываются ли за всем этим честные мотивы и искреннее стремление к миру? В самом ли деле для нас обоих столь тяжело бремя, которое мы несем, что мы хотим найти выход... из этой дилеммы?»<sup>55</sup> В марте он подумывал о том, чтобы пригласить Хрущева в Америку «для спасения ситуации». Вскоре после этого президент приказал Госдепартаменту «с соблюдением строгой секретности» подготовить доклад о возможности пригласить Хрущева в США. В середине июня, когда переговоры в Женеве зашли в тупик, Эйзенхауэр сказал своей личной секретарше Энн Уитмен, что «ему осталось одно — пригласить господина Х. сюда и переговорить с ним с глазу на глаз». Месяц спустя, когда министры иностранных дел вновь собрались в Женеве, президент одобрил план приглашения Хрущева в Соединенные Штаты, надеясь, что этот визит «прорвет плотину» на конференции министров.

По плану Эйзенхауэра, приглашение зависело от достижения конкретных успехов в Женеве. Помощнику госсекретаря США Роберту Мерфи было поручено передать

приглашение (вместе с условием) Козлову, присутствовавшему в Нью-Йорке на открытии Советской выставки научных и культурных достижений. 13 июля Козлов должен был вернуться в Москву. Мерфи предстояло сказать ему, что, если переговоры в Женеве пройдут успешно, два лидера смогут неофициально пообщаться в Вашингтоне, а затем, если Хрущев пожелает, ему организуют турне по стране. Однако Мерфи, что-то перепутав, передал приглашение безо всяких условий — а 21 июля Эйзенхауэр узнал, что Хрущев это приглашение принял. Президент оказался «в чрезвычайном затруднении», «не понимал, что теперь делать» — так сообщил он самому Мерфи 22 июля. Теперь ему придется участвовать во встрече, которая ему «глубоко неприятна», не понимая даже, «достижению каких целей она послужит»<sup>56</sup>.

Поверить в эту историю трудно; некоторые историки и не верят<sup>57</sup>. Сам Хрущев был поражен, когда узнал о приглашении, которого безуспешно добивался уже несколько месяцев. В июле он в очередной раз сообщил делегации американских губернаторов, что не отказался бы съездить в Соединенные Штаты и в ответ принять американского президента в СССР<sup>58</sup>. Однако к этому времени, по словам Сергея Хрущева, его отец уже потерял надежду и «пал духом»<sup>59</sup>.

Такова была ситуация июльским воскресным утром, когда вернулся из Нью-Йорка Козлов. Хрущев отдыхал у себя на даче: Козлов позвонил туда, а затем немедленно приехал. «Признаюсь, я сначала даже не поверил, — рассказывал позже Хрущев. — Это произошло так неожиданно, мы были вообще не подготовлены к этому. Наши отношения были тогда столь натянутыми, что приглашение с дружеским визитом главы советского правительства и первого секретаря ЦК КПСС казалось просто невероятным! Но факт оставался фактом: Эйзенхауэр пригласил правительственную делегацию, а я ее возглавлял... Как это понимать? Что это, поворот в политике?»<sup>60</sup>

Хрущев принял новость «с глубоким удовлетворением», — вспоминал его сын. «Я бы даже сказал, с радостью. Он воспринял это как знак того, что США наконец-то признали нашу социалистическую страну. Он станет первым советским руководителем, официально приглашенным в США». Похоже, добавляет Трояновский, наметился тот самый «прорыв», которого ждал Хрущев, конкретный результат давления на западные державы по берлинскому вопросу<sup>61</sup>.

Неудивительно, что переговоры, возобновленные министрами 13 июля, ни к чему не привели. Хотя о визите Хрущева в США официально не объявлялось до августа, всеобщее внимание переместилось из Женевы в Вашингтон. Главному аттракциону предшествовал визит в СССР вице-президента Никсона, проходивший с 23 июля по 2 августа.

Строгий и сдержанный Никсон был совсем не похож на открытого и вспыльчивого Хрущева. Однако имелось у них и кое-что общее: оба были чувствительны к малейшим знакам неуважения и полны решимости показать, что отступать от своих позиций не намерены. По дороге в Москву Никсон размышлял о том, «как мне вести себя с Хрущевым». Он понимал, что тот, скорее всего, попытается его запугать, однако не хотел «отвечать угрозами на угрозы и похвалой на похвальбу». И все же он был «взвинчен и готов к бою...»<sup>62</sup>.

Первый разговор Никсона с Хрущевым превратился во взаимное поливание грязью. За несколько дней до того конгресс США принял резолюцию «О порабощенных народах», осуждающую доминирование СССР в социалистических странах. Резолюция была рутинным делом, принималась она каждый год начиная с 1950-го, однако на этот раз Хрущев воспринял ее как попытку давления.

«От этой резолюции воняет, — объявил он на первой же встрече с Никсоном в Кремле. — Несет свежим конским навозом — хуже запаха на свете нет». — «Боюсь, председатель Совета министров ошибается, — отвечал на это Никсон. — Свиной навоз пахнет еще хуже»<sup>63</sup>.

После такого начала отношения могли только улучшиться — хуже было уже некуда. Хрущев проворчал, что, поскольку Никсон — адвокат, а он сам — простой шахтер, Никсон всегда его переспорит. Похвастал мощью и точностью ракет, выдал очередной «секрет», о котором еще никто (кроме предыдущего визитера) не слышал, пригрозил в первый же день войны уничтожить Германию, Англию и Францию, а затем сообщил, что никому угрожать не собирается<sup>64</sup>.

Обмен «любезностями» продолжался и во время посещения Американской выставки в Сокольниках (которую Никсон открывал как Козлов — Советскую выставку в Нью-Йорке). Выставка демонстрировала явное превосходство Америки. Здесь размещался семидесятивосьмифутовый купол, на стенки которого проецировались слайды с изображением американских городов, шоссе, супермаркетов, кампусов в сопровождении музыки и русского текста — так что не могло не возникнуть сомнений относительно того, что СССР действительно вот-вот догонит и перегонит США<sup>65</sup>. Особен-

но разозлил Хрущева павильон телекомпании Ар-си-эй с цветными телекамерами и мониторами. Хрущев, в мешковатом сером пиджаке и традиционной панаме, проворчал, что Советский Союз вот-вот поравняется со Штатами и «сделает им ручкой» (тут он выразительно помахал пухлой ладонью). Все еще раздраженный резолюцией конгресса, он обнял за плечи одного из посетителей выставки, рабочего: «Скажите, он похож на раба? Разве можно проиграть с такими людьми?»

Поначалу Никсон помалкивал. Однако резкие замечания Хрущева «били ему по нервам», тем более что близились президентские выборы, на которых Никсон собирался выставить свою кандидатуру от республиканской партии, и он понимал, что эту беседу увидят по телевизору миллионы избирателей. Выйдя из жаркой телестудии, где гости обливались потом, Никсон повел высокого гостя в модель шестикомнатного ранчо с «чудо-кухней». Здесь разгорелся новый спор: кухня, полная сверкающей суперсовременной утвари, задела Хрущева, и он заявил, что в СССР таких машин тоже полно. Скоро они с вице-президентом снова, по выражению Никсона, «начали перебранку», повышая голос и тыча друг в друга пальцами<sup>66</sup>.

Излив душу и подобрев, вспыльчивый, но отходчивый Хрущев пригласил Никсона и его спутников (среди которых был и брат президента, доктор Милтон Эйзенхауэр) на обед в Кремль. Обед прошел весело: пили шампанское и после тостов бросали бокалы в камин. Во время ужина в резиденции американского посла Хрущев вдруг предложил американцам сейчас же ехать к нему на дачу, куда они собирались только на следующий день. «Самое роскошное поместье, какое я когда-либо видел, — рассказывает Никсон о даче Хрущева. — Особняк размерами больше Белого дома окружен тщательно ухоженными садами и лужайками; мраморная лестница спускается к Москве-реке». Во время двухчасового катания по реке (для которого Хрущев переоделся в вышитую украинскую косоворотку, в то время как Никсон в своем деловом костюме обливался потом) моторка по меньшей мере восемь раз останавливалась вблизи купальщиков и Хрущев спрашивал: «Вот скажите, вы у нас порабощены? Вы рабы?» И, получив правильный ответ «нет», тыкал Никсона пальцем под ребра: «Вот видите, как живут наши рабы!»

Во время пятичасового полдника Хрущев вновь начал хвастать военной мощью Советского Союза. Никсон отбивал его атаки. «После полудня между нами вновь засверкала сталь», — замечает он. В пылу спора Хрущев продемонст-

рировал Никсону «набор жестов, которым позавидовал бы дирижер оркестра»: то «хлопал ладонью по столу, стараясь прихлопнуть мое утверждение, как муху», то нетерпеливо возводил глаза к потолку, «показывая, что уже слышал этот аргумент и больше его слышать не желает», то разводил руки, «словно призывая всех вокруг в свидетели своей правоты», то гневно махал руками, «словно приказывая невидимому оркестру играть громче»<sup>67</sup>.

Все эти приемы Хрущеву вскоре предстояло испытать на территории противника. А тем временем Америка успокаивала союзников. Внезапное объявление о визите Хрущева, сделанное 3 августа одновременно на пресс-конференциях в Москве и Вашингтоне, вызвало у лидеров западных стран глубокое недовольство. Недоверчивый Аденауэр опасался, что США предадут его в последний момент. Де Голль подозревал, что СССР и США намерены оставить его за бортом. Макмиллан возмущался тем, что, отвергнув его предложение о переговорах на высшем уровне, Эйзенхауэр «украл его идею». Президент «доставил мне величайшее разочарование, неудовольствие и даже тревогу, — сетовал премьер-министр. — Это произошло не из-за вероломства американцев (как, кажется, считают некоторые мои коллеги), а скорее, вследствие их глупости, наивности и некомпетентности... Теперь все поймут, что две мировые державы — Россия и США — собираются заключить сделку у нас над головами и за нашими спинами»<sup>68</sup>.

Эйзенхауэр предложил до приезда Хрущева в США собрать «западный саммит». Де Голль его предложения не принял, и Эйзенхауэру пришлось объехать столицы всех стран-союзниц. Однако в результате переговоров он только яснее понял, сколь малое пространство оставлено ему для маневра. Все, что он услышал в Европе, убедило президента, что принятие любых решений по Германии и Берлину необходимо отложить на несколько лет.

Он старался снизить ожидания американцев. На пресс-конференции 3 августа президент заявил, что надеется лишь «немного растопить лед, заморозивший наши отношения с Советами». 10 сентября США выставили для созыва официального четырехстороннего саммита два условия: СССР должен проявить уважение к правам Запада в Берлине и «дать понять любым возможным способом, что серьезные переговоры могут привести к снижению международной напряженности»<sup>69</sup>.

Эти условия фактически означали отступление: прежде американцы требовали снижения напряженности перед саммитом, а не во время его. Более того, по мере приближения



визита Хрущева Эйзенхауэр начал возлагать на его приезд большие надежды. Он ожидал, что сможет добиться если не политического, то хотя бы личного прорыва, выяснив наконец, «готов ли и стремится ли этот человек к мирным соглашениям». Кроме того, как заявил Эйзенхауэр на августовской пресс-конференции, в Америке Хрушев увидит, «как живут и трудятся свободные люди», и этот «урок», возможно, «возымеет какое-то действие»<sup>70</sup>.

Для Хрущева, вспоминает Аджубей, предстоящее путешествие должно было стать «звездным часом», «признанием его личных заслуг» и в то же время «признанием его страны, ее места и влияния в международных отношениях». По словам Сергея Хрущева, отец «был в восторге и постоянно повторял своим слушателям: “Кто бы мог подумать двадцать лет назад, что самая могущественная капиталистическая страна в мире пригласит к себе коммуниста?! Невероятно. Теперь-то им приходится с нами считаться. Мы стали сильны, и они вынуждены признать наше существование и нашу мощь. Кто бы мог подумать, что капиталисты пригласят к себе меня, рабочего?! Посмотрите, чего мы достигли за эти годы”»<sup>71</sup>.

Однако путешествие должно было стать и очередной проверкой. Хрушев боялся, пишет его сын, что американские «капиталисты и аристократы» будут смотреть на него, бывшего рабочего, как на низшее существо, с которым можно сесть за один стол только по крайней необходимости<sup>72</sup>. Поэтому ему нужно было держаться как нельзя лучше: разумно вести переговоры, тщательно подбирать слова и вести себя с безупречным достоинством.

Отъезду предшествовали тщательные приготовления. На черноморском пляже, под льняными тентами, защищающими от жаркого солнца, Хрушев, Громыко и их помощники разбирали материалы, подготовленные Министерством иностранных дел и КГБ, стремясь предусмотреть любые случайности. Спичрайтеры Хрущева тем временем сочиняли речи для всех возможных случаев: прибытий, отъездов, завтраков, обедов и ужинов, выступлений перед бизнесменами и журналистами. Позже, в Москве, в кремлевском кабинете Хрущева каждый день в девять утра собирались его помощники и снова и снова перечитывали и правили эти речи — речи, которыми он так и не воспользовался<sup>73</sup>.

Прежде всего необходимо было разработать стратегию переговоров. «Когда доходило до этих вопросов, — замечает Сергей Хрушев, — отцу приходилось решать самому». Не по-

лагаясь на чужое мнение, он обдумывал стратегию сам. «Отец постоянно думал о предстоящих переговорах — загораю на пляже, купаясь со спасательным кругом, но больше всего на вечерних прогулках по так называемой “царской тропе”»<sup>74</sup>.

Вернувшись с этих прогулок, Хрущев вызывал стенографисток и начинал диктовать им свои идеи. Он покажет американцам, что «мы не позволим собой помыкать или садиться себе на шею»! Но в то же время он стремился разрешить трудные вопросы и выйти за уровень минимально мирного существования. Такое сочетание амбициозных целей и нежелания уступать характерно для Хрущева — как и то, что его сын называет «напряженным и подозрительным вниманием» к протокольным сторонам визита. Советский посол в Вашингтоне Меншиков, уже известный американцам как человек «ограниченный и подозрительный», превзошел самого себя, требуя составления маршрута, который удовлетворил бы его босса<sup>75</sup>. Однако Хрущев не переставал страшиться третирования и унижения.

Его опасения начинались с самого прибытия. Хрущев возглавлял и советское правительство, и коммунистическую партию, но для паритета с Эйзенхауэром требовалось, чтобы его принимали как главу государства. Американцы заверили, что так и будет; но Хрущев продолжал опасаться, что ему не окажут всех положенных по протоколу почестей, и это «нанесет нам моральный урон». На всякий случай он передал через Меншикова предупреждение (будь у советского посла хоть немного здравого смысла, он не стал бы передавать его дальше): Эйзенхауэра в Москве примут точно так же, как Хрущева в Вашингтоне<sup>76</sup>.

В расписании маршрута, который прислал из Москвы в Пицунду Громыко, значились переговоры в Кемп-Дэвиде. «Кемп-Дэвид? — подозрительно повторил Хрущев. — Что это?» Громыко не знал, что это такое, и просто перевел: «Лагерь Дэвид»<sup>77</sup>. — «Что еще за лагерь?! — воскликнул Хрущев. — Почему переговоры не будут проводиться в столице?» Пришлось навести справки в Вашингтоне: выяснилось, что Кемп-Дэвид — дача президента в Мэриленде.

Много лет спустя Хрущев рассказывал об этом недоразумении, желая показать, как мало знали друг о друге обе стороны. Однако есть в его словах любопытный оттенок. Что, если, спрашивал он себя, Кемп-Дэвид — это «место, куда приглашают людей, которые не внушают доверия», «вроде какого-то карантинного учреждения, так что там только президент и будет со мной встречаться»? Ему приходили на ум Принцессы острова в Мраморном море, неподалеку от

Стамбула, «место, где собирают бездомных собак» и где в 1919 году встречались с советской делегацией представители стран Запада<sup>78</sup>.

Беспокойство вызывали и другие организационные моменты. Кто будет сопровождать Хрущева в Америку? На чем они полетят? В какое время прибудут? Некоторые кандидатуры (например, Громыко) сомнений не вызывали; но Хрущев хотел еще взять с собой лучшего из советских писателей, чтобы придать делегации культурную значимость. Лучшим современным писателем он считал Шолохова, но Шолохов злоупотреблял спиртным. Прежде Хрущев не хотел выпускать его за границу, говоря: «Мы не уверены, что ты не споткнешься и тем самым не нанесешь урон не только себе, но и всей нашей стране». Однако в Великобритании и Скандинавии Шолохов вел себя вполне прилично, так что решено было его взять<sup>79</sup>.

Брать ли с собой семью? Вообще говоря, это было не принято. «Сталин очень ревниво относился к тому, если кто-нибудь брал с собой жену», — вспоминает Хрущев. И сами члены Президиума считали это «не то роскошью, не то чем-то обывательским, но не деловым актом». Однако Микоян, уже побывавший в Америке, выступал за присутствие Нины Петровны — отчасти, возможно, потому, что полагал, что присутствие жены окажет на вспыльчивого Хрущева успокаивающее действие. Микоян сказал, вспоминает Хрущев: «Я предложил бы, чтобы Хрущев взял с собой Нину Петровну и включил в делегацию также других членов семейства. Это будет хорошо расценено американскими обывателями, и это лучше для нас». Посол и миссис Томпсон с ним согласились, и Хрущев взял с собой не только жену, но и детей Юлию (дочь от первой жены), Раду, Сергея, Елену и внучку Юлию, которую он и Нина Петровна воспитывали как дочь.

На каком самолете лететь? Ил-18 требовал дополнительной посадки для дозаправки. Новый самолет Ту-114 способен был преодолеть расстояние от Москвы до Вашингтона без дозаправок, но первый его полет на дальнее расстояние был совершен только в мае, и после этого в моторе обнаружили микротрещины. Несмотря на возражения членов Президиума, министра обороны Малиновского и собственного личного пилота, Хрущев настоял на том, чтобы лететь на новом самолете. Он помнил триумфальное появление Ту-104 в Лондоне в 1956-м и рассчитывал на еще большую сенсацию в Вашингтоне. Летом Козлов уже летал в США на этом самолете — и что же? У американцев не нашлось для него ангара с достаточно высоким потолком! «Вы посмотрите! Вот на что

мы способны, — восхищался Хрущев, когда узнал об этом. — Пусть увидят, что мы можем!» Едва ли он знал — и никто не осмелился ему сказать — что необыкновенная высота самолета была вызвана желанием конструктора уберечь моторы от попадания камней и грязи с неухоженных взлетных полос советских аэродромов. Ему было известно только, что самолет Туполева — самый высокий в мире<sup>80</sup>.

Сам Туполев горячо поддерживал Хрущева и даже отправил вместе с делегацией своего сына Алексея, чтобы доказать надежность своего творения. «Мы не сообщали, что с нами летит сын Туполева, — вспоминал Хрущев, — потому что это потребовало бы объяснений и могло нанести ущерб нашему престижу»<sup>81</sup>.

Важно было прибыть вовремя. «Было рассчитано время пребывания в воздухе. Определили час вылета из Москвы, чтобы прибыть в США тоже к назначенному часу... В Вашингтоне будет подготовлена грандиозная церемония, поэтому надо не опаздывать, но и не спешить. Если подлетим раньше, то можно будет в воздухе сделать несколько лишних кругов, чтобы дотянуть до обусловленной минуты. Но если запоздаем, то нанесем ущерб нашему престижу»<sup>82</sup>.

Нервозность Хрущева была скрыта от чужих глаз: на публике он старался вести себя спокойно и с достоинством, как подобает руководителю великой державы. Однако на пресс-конференции 3 августа он дважды сорвался. Когда репортер процитировал высказывание Аденауэра, заявившего, что теперь Хрущев увидит, как сильны США, Хрущев отрезал, что перед Америкой «колени гнуть не станет», а Аденауэра назвал «дряхлым» и «больным человеком». Другой репортер спросил: будет ли Эйзенхауэр во время ответного визита приглашен на советские ракетные базы? Хрущев почувствовал в этом вопросе подтекст: «Не хотите ли вы напугать Айка советской мощью?» — и резко ответил: «Вы стараетесь придать нашей встрече дурной оттенок». Если он пригласит Эйзенхауэра на ракетную базу, добавил Хрущев, президент будет иметь полное право спросить: «Что это, он запугать меня хочет?»

В конце пресс-конференции Хрущев попросил у журналистов «снисхождения», если он «оговорился, неточно выразился». Он лишь хотел сказать, что советская делегация едет в Америку «с открытой душой и чистым сердцем». Если «какое-либо из моих сегодняшних высказываний может быть воспринято в ином духе, то прошу обращаться ко мне, и я разъясню, что имелось в виду, потому что я не хочу, чтобы агрессивные силы могли использовать что-либо из сказанного здесь в интересах усиления холодной войны»<sup>83</sup>.

Наконец, 15 сентября, в семь часов утра Ту-114 отправился в путь. Через двенадцать часов он должен был приземлиться на военном аэродроме Эндрюс близ Вашингтона. Кроме Хрущева и его спутников, в особом, отгороженном углу салона летели специалисты-механики: с помощью специального аппарата, напоминающего помесь стетоскопа с электрокардиографом, они проверяли пульс моторов. Зеленый огонек на аппарате означал, что все в порядке, красный был сигналом тревоги<sup>84</sup>.

Внизу, в море, тоже было беспокойно. КГБ предлагал отправить по маршруту полета крейсера и эсминцы, на случай если самолет потерпит крушение над морем, но Хрущев отверг этот план как дорогой и бесполезный. Однако Комитет государственной безопасности все же разместил в море от Исландии до Вашингтона танкеры и рыбацкие траулеры<sup>85</sup>.

«О многом я думал, пока летел из Москвы на Запад, — вспоминал Хрущев. — Самые разные мысли вертелись у меня в голове, пока я глядел на океан внизу». Прежде всего он испытывал законную гордость: «Из разоренной, отсталой и неграмотной России мы превратились в Россию, поразившую мир своими успехами». И однако, «не скрою, меня беспокоила новая встреча с президентом». Отчасти волновало его то, что в первый раз он должен встретиться с президентом США лицом к лицу, «с глазу на глаз»<sup>86</sup>. И потом — впереди Америка! «Экзамен общения с капиталистами я уже выдержал и в Индии, и в Бирме, и в Англии. Но это все же Америка! Американскую культуру мы не ставим выше английской, однако мощь страны в те времена имела решающее значение. Поэтому надо было достойно представлять СССР и с пониманием отнестись к партнеру. А спор-то возникнет у нас, бесспорно, возникнет, но надо, чтобы без повышения голоса... не унизиться и не позволить себе сказать лишнее, недопустимое при дипломатических переговорах».

«Нам все это казалось очень сложным, тем более что Сталин вплоть до самой своей смерти убеждал нас, что мы... негодные люди, что мы не сможем устоять против сил империализма, что при первом же личном контакте не сумеем достойно представлять свою Родину и защищать ее интересы, что империалисты нас просто сомнут». Пока самолет мчался к Вашингтону, «его слова проносились в моем сознании, но не угнетали, а наоборот, мобилизовывали силы. Я морально и психологически готовился к встрече... Америка, хорошо описанная и поданная... нашими писателями — это одно; Америка, к которой мы сами приближались — уже реальность. Все нас настораживало, возбуждало и напрягало нервы»<sup>87</sup>.

В Вашингтоне стоял жаркий летний день; на небе не было ни облачка. Легкий ветерок развеивал флаги обеих стран, на начищенных до блеска пятидесяти шести инструментах военного оркестра сверкало солнце. Несмотря на все свои старания, Хрущев опоздал на час. Президент США вместе с госсекретарем и другими высшими лицами государства терпеливо ждал его на жарком солнце. Впечатлил ли их огромный самолет, показавшийся наконец на горизонте, — мы никогда не узнаем; но в советской книге «Лицом к лицу с Америкой», живописующей поездку Хрущева в США, мы читаем восторженные отзывы Аджубея и его коллег: «Казалось, что не только подъемная сила стреловидного крыла, могучая тяга двигателей, превосходящих по мощности турбины иных гидростанций, подняла в воздух самолет Н. С. Хрущева, перенесла его за океан, но и заботливая, бережная сила миллионов советских тружеников, всех прогрессивных людей земли, их неукротимая, страстная тяга к миру»<sup>88</sup>.

Американцы подготовили пышную церемонию: красный ковер, гимны обеих стран и салют из двадцати одного орудия. Церемониал встречи Хрущеву понравился. «Все там блистало, сверкало, было сделано изысканно и со вкусом. Мы делали не так, а просто, по-пролетарски, даже небрежно. У них же все было сделано основательно, продуманно, все на своем месте». Он был тронут: «Получить почести доставляло нам особое удовлетворение. Не оттого, что меня так встречают, а потому, что так встречают представителей великой социалистической страны»<sup>89</sup>.

На Хрущеве был элегантный черный пиджак со звездами Героя Социалистического Труда. С некоторым удивлением увидел он Эйзенхауэра не в военной форме, а в гражданском костюме. Ожидая, что президент сразу начнет демонстрировать ему мощь своей страны, Хрущев приготовил «ответный удар». Несколькими днями ранее Москва запустила ракету на Луну. Хрущев решил преподнести Эйзенхауэру миниатюрную модель этой ракеты, намекнув тем самым на превосходство Советского Союза в космосе. Он буквально облизывался, предвкушая, как вручит свой подарок перед телекамерами прямо на аэродроме Эндрюз. Однако Трояновский и другие помощники уговорили его подождать с преподнесением модели до Овального кабинета. Согласно официальному американскому отчету о встрече, «президент принял подарок с интересом и благодарностью». На самом деле Эйзенхауэр был взбешен, но скрыл свой гнев. «В конце концов, — говорил он позже своему сыну, — вполне возможно, что он это сделал от чистого сердца»<sup>90</sup>.

После церемонии в аэропорту Хрущев и его жена втиснулись вместе с президентом на заднее сиденье открытого лимузина и направились в Вашингтон, до которого было 15 миль. Некоторые зрители у дороги улыбались и махали ему рукой, но большинство стояли молча и с каменными лицами. Хрущев потом заявлял, что за несколько минут до них по дороге проехал специальный автомобиль с плакатом: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ХРУЩЕВА И АПЛОДИРОВАТЬ!» Как писала газета «Правда», «такого моря людей улицы города не видели со времен Второй мировой войны... Миллионы американцев знают и верят, что руководитель великого Советского государства приехал с открытой душой и самыми благородными намерениями...»<sup>91</sup>.

Так началось путешествие, которое советские хроникеры именовали «выдающимся историческим событием», «триумфальной поездкой», «не имевшей прецедента в истории»<sup>92</sup>. Во многих отношениях поездка Хрущева и вправду была успешной: он проник в цитадель капитализма, заслужил симпатию многих простых американцев, наконец, добился определенного прогресса в вопросе о Берлине — президент дал согласие на саммит, которого так долго добивался Хрущев. Впрочем, последний успех был скорее воображаемым, чем реальным. Личные промахи Хрущева подрывали его дипломатию. Он чувствовал себя неуверенно, во всем вокруг видел «провокации» или скрытые оскорбления, опасался, что над ним смеются — и, реагируя в свойственной ему манере, в самом деле ставил себя в смешное положение.

Помощники Хрущева пытались «объяснить ему американский плюрализм мнений», говоря, что «обструкции ему устраивает все-таки меньшинство и что большая часть американцев... ему сочувствует»<sup>93</sup>. Однако сами они (как и Хрущев) полагали, что все недружественные выступления были подготовлены заранее. «Его это глубоко задевало, — вспоминает Трояновский. — В конце концов, он — глава страны; а ему задают неудобные вопросы, перебивают, открыто и резко возражают. Все это сильно его раздражало. Свойственный ему комплекс неполноценности проявлялся особенно сильно, когда он чувствовал, что оскорблен не только он сам, но и страна, которую он представляет»<sup>94</sup>.

Конечно, советский лидер был и хорошим актером. По меньшей мере один американский дипломат, сопровождавший его в поездке, не сомневался, что бурные проявления его темперамента — хорошо продуманные спектакли, призванные заставить Эйзенхауэра защищаться<sup>95</sup>. Самолюбие Хрущева страдало. Он твердо решил «не удивляться, не по-

казать себя завистливым простачком». Для этого необходимо было сдерживать свое природное любопытство; однако каждый вечер он расспрашивал других членов делегации, в том числе министра образования Вячеслава Елютина и председателя Днепропетровского областного совнархоза Николая Тихонова, об их впечатлениях от прошедшего дня<sup>96</sup>.

Необходимость постоянно сдерживать и свой темперамент, и свое любопытство, писал позже Аджубей, заставляла Хрущева быть «постоянно начеку»; еще более «беспокоились и волновались» его помощники. Каждое утро они просматривали газеты, ища как положительные сообщения, о которых можно было доложить начальству, так и промахи, ответственность за которые можно было возложить на противную сторону. (Те из членов семьи Хрущева, кто читал по-английски, также просматривали газеты. Один раз, увидев в газете карикатурный рисунок толстой женщины, Нина Петровна решила, что американцы высмеивают ее фигуру, и обиделась. «Если бы я знала, что здесь будут такие рисунки, — жаловалась она Джейн Томпсон, — ни за что бы не поехала!»<sup>97</sup>) Помощники вздыхали с облегчением, когда «природное умение Никиты Сергеевича держаться естественно в любой обстановке» шло ему на пользу и завоевывало ему друзей — даже на чопорных приемах и ужинах, где собирались сливки общества во фраках и их жены в вечерних туалетах. Однако, пишет Аджубей: «Садясь за стол, где возле тарелок лежали всякие ложки, ложечки, вилки, вилочки, я, бывало, с опаской поглядывал, как Хрущев справляется со всем этим»<sup>98</sup>.

Поначалу Хрущев держался почти идеально. Когда президент показывал ему с вертолета «ряды симпатичных чистеньких домов» и запруженные автомобилями шоссе в часы пик, Хрущев не проявил ни восхищения, ни зависти. На торжественном приеме, куда американцы пришли во фраках и вечерних нарядах, а русские — в деловых костюмах и платьях, которые Мэйми Эйзенхауэр назвала «уличными», где подавалась традиционная индейка в клюквенном соусе, а Фред Уэринг со своими «Пенсильванцами» играл «Там, за радугой» и «Боевой гимн республики», в официальном тосте Хрущева скромность («Я не претендую на глубокое знание истории») смешалась с его обычным хвастовством («Это верно, сейчас вы богаче нас. Но завтра мы будем так же богаты, как вы. А послезавтра? Еще богаче! Скажете, плохо?»)<sup>99</sup>.

На следующее утро в Исследовательском центре Государственного департамента сельского хозяйства в Белтсвилле, Мэриленд, где сотни журналистов поджидали его у входа, а сотрудники центра в белых халатах буквально висели на ок-



нах, высокий гость похвалил «очень хороших коров» хозяев, однако, «не желая умалять ваших успехов», заметил, что в СССР за последние три года «средний удой на корову увеличился на 600 литров»<sup>100</sup>.

В тот же день в Национальном пресс-клубе Хрущев произнес речь, знаменательную как мягким и конструктивным тоном, так и особой заботой о том, чтобы его верно поняли: «Если я вдруг как-либо неудачно выражусь, попросите меня повторить... потому что я не хочу, чтобы неверно понятые слова встали между тем, что я хотел сказать, и тем, за что я борюсь»<sup>101</sup>. Но первый же вопрос, заданный Хрущеву, касался его роли в сталинском терроре: верно ли, что однажды, получив анонимный вопрос на эту тему, Хрущев попросил задавшего вопрос встать, а когда никто не поднялся с места, сказал: «Вот вам, товарищ, и ответ на ваш вопрос». Этот вопрос был тем более обиден, что, когда он был задан, раздался смех. Хрущев побагровел, глаза его сузились; отвечал он с жаром, однако и с твердой решимостью не поддаваться на провокацию: «Вы, очевидно, хотите поставить меня в неловкое положение и заранее надо мной смеетесь. У нас в России говорят: “Хорошо смеется тот, кто смеется последним”... Могу только добавить, что, хотя у лжи длинные ноги, за правдой ей не угнаться»<sup>102</sup>.

Еще одна очевидная (по крайней мере в восприятии Хрущева) провокация касалась его фразы, произнесенной в 1956-м, в пылу гнева, по поводу Венгерского и Суэцкого кризисов. На приеме в честь Гомулки в польском посольстве Хрущев обрушился на западных дипломатов: «Хотите вы того или нет, история на нашей стороне. Мы вас похороним»<sup>103</sup>. Речь шла о победе в политической и экономической областях, однако многие на Западе поняли эту фразу буквально. «Если вы не говорили этого, — заметил корреспондент из Национального пресс-клуба, — так и скажите; а если говорили — объясните, что имелось в виду». Хрущев отклонил вызов шуткой: «Если бы такое и случилось, мне жизни бы не хватило, чтобы похоронить вас всех»<sup>104</sup>. Но, отвечая на другой вопрос — о советской интервенции в Венгрию, он не смог сдержать гнева. «Так называемый венгерский вопрос, — раздраженно проговорил он, — у некоторых людей застрял в горле, как дохлая крыса, — и противно, и выплюнуть не получается». Согласно советским хроникам, «этот прямой ответ покори́л слушателей естественной комбинацией теоретической глубины и приземленной простоты, известной на Западе как “хрущевский стиль”»<sup>105</sup>.

После нескольких мероприятий в Вашингтоне — осмотра

городских памятников, знакомства с Комитетом по иностранным делам сената США (где Хрущев, в числе прочих, встретился с Джоном Ф. Кеннеди), приема и ужина в советском посольстве — на следующий день в 8.22 Хрущев и его спутники отбыли специальным поездом в Нью-Йорк, который оставил у Хрущева впечатление «очень большого и шумного города. Поражали световая реклама, насыщенность автомобильным движением, сопровождаемым отравленным, испорченным газами воздухом, который душит людей»<sup>106</sup>. Оставив жену и дочерей в отеле «Уолдорф-Астория», Хрущев отправился на ужин с 1600 высокопоставленными нью-йоркцами в отеле «Коммодор». Речи мэра города Роберта Ф. Вагнера и представителя США в ООН Генри Кэбота Лоджа переводчики Хрущева интерпретировали как очередные «провокации»<sup>107</sup>. Однако Хрущев спокойно ответил: он «не обратится в вашу капиталистическую веру», поскольку прекрасно понимает — «всякий кулик, по русской пословице, свое болото хвалит»<sup>108</sup>.

Позже в тот же день Аверелл Гарриман собрал у себя в особняке на Восточной Восемьдесят Первой стрит тридцать человек, состояние каждого из которых составляло не менее ста миллионов. Здесь были Джон Дж. Макклой, неофициальный лидер восточного истеблишмента, Джон Д. Рокфеллер III, Дин Раск из «Фонда Рокфеллера», Дэвид Сарнофф, владелец Ар-си-эй, а также главы «Метрополитен лайф», «Ситиз сервис» и «Первой бостонской корпорации». Рядом с этими титанами почетный гость Гарримана выглядел инородным телом. Гарвардский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, далеко не столь состоятельный, но приглашенный на вечер благодаря старой дружбе с Гарриманом, позже вспоминал «бесформенного человечка в бесформенном пиджаке, с большой круглой розовой головой и коротенькими ножками, сидящего у камина под большим полотном Пикассо»<sup>109</sup>.

На взгляд Хрущева, гости Гарримана выглядели как «типичные капиталисты, но отнюдь не фигуры со свиноподобными физиономиями, как изображали их на наших плакатах времен Гражданской войны». Коктейль на американский манер Хрущеву понравился: «Прием был не за столом: в большом зале люди сидели или ходили и беседовали друг с другом». Однако не понравилось, что «в зале плавал табачный дым». Сквозь этот дым «многие подходили ко мне и перебрасывались фразами. Велось прощупывание: что это за человек? С чем он приехал?»<sup>110</sup>

Желая отойти от уже сложившейся схемы, Гарриман предложил Хрущеву не отвечать на вопросы, а самому спрашивать

о том, что его интересует. Однако Хрущев твердо решил не выказывать чрезмерного интереса к капиталистической жизни, а кроме того, опасался, что гости Гарримана начнут его «поучать». Когда выяснилось, что они также не намерены выслушивать лекции и не собираются давить на Вашингтон ради развития торговли с СССР, Хрущев распрощался с хозяином и гостями и вернулся в «Уолдорф», где его ждал торжественный ужин с еще одной группой бизнесменов.

В большом зале нью-йоркского Экономического клуба собралось почти две тысячи человек: дополнительные столы были установлены даже на балконе соседнего бильярдного зала. Хрущев произнес довольно мягкую речь о пользе торговли и мирного сосуществования; однако, когда настало время отвечать на вопросы, первый же интервьюер, издатель журнала «Лук» Гарднер Коулз, поинтересовался, как соотносится идея мирного сосуществования с советским догматом о неизбежной победе коммунизма. Хрущев принялся разъяснять Коулзу хитросплетения марксистской диалектики, но с балкона послышался крик: «Это не ответ на вопрос!» Когда Хрущев ушел от ответа на вопрос о том, почему граждане СССР не могут читать американские газеты и слушать «Голос Америки», снова раздались возгласы: «Отвечайте на вопрос!»

«Бросались, как львы на решетку», — вспоминал позже Хрущев. А тогда он ответил: «Если не хотите меня слушать — хорошо. Я — стреляный воробей, вы меня криками не запугаете. Не хотите слушать — могу уйти. Я в США приехал не милостыню просить. Я представляю великое Советское государство»<sup>111</sup>.

Расписание визита предусматривало автомобильную поездку в здание «Эф-ди-ар» в Гайд-парке, визит в Эмпайр-стейт-билдинг, беседу с губернатором Нельсоном Рокфеллером и появление в ООН. По дороге в Гайд-парк Хрущев выглядел недовольным. Он признался Лоджу, что «не знает, как оценить» ужин в Экономическом клубе: речь ему удалась, а вот вечер в целом определенно не удался<sup>112</sup>.

19 сентября Хрущев и его спутники встали до рассвета, чтобы по дороге в аэропорт осмотреть Гарлем и прибыть в Лос-Анджелес до обеда. Долгий жаркий день («в Лос-Анджелесе пекло, как в Сахаре», — вспоминает Лодж) окончился речью Хрущева, произнесенной около полуночи. К этому времени советский руководитель едва держался на ногах от усталости.

В аэропорту советскую делегацию встречали мэр и другие высокопоставленные лица. Помощник мэра Виктор Картер, русский эмигрант, которому было поручено сопровождать Хрущева, говорил по-русски «с заметным акцентом, примерно так, как говорят евреи, живущие в СССР», вспоминал Хрущев. Узнав, что Картер вырос в Ростове, где до 1917 года жили лишь богатые евреи, Хрущев заключил (и сообщил Лоджу), что отец его, должно быть, был богатый торговец, один из тех, с кем Красная Армия, в рядах которой воевал в окрестностях Ростова сам Хрущев, «не успела разобраться после революции»<sup>113</sup>.

За обедом в «Кафе де Пари» на студии «XX век Фокс» собрались сливки Голливуда — Керк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гэри Купер, Элизабет Тейлор. Рональд Рейган от приглашения отказался. Мэрилин Монро, которую организаторы попросили надеть «самое обтягивающее и сексуальное платье» и оставить дома мужа, потом рассказывала горничной: «Я определенно понравилась Хрущеву. Когда нас познакомили, мне он улыбался намного шире, чем всем остальным...»<sup>114</sup>

Обед оплачивала компания «Фокс»<sup>115</sup>. Поэтому роль хозяина приема играл Спирос Скурас, киномагнат греческого происхождения; в своей речи он решил объяснить высокому гостю, что такое американская мечта на собственном примере, поведав, как он выбился из нищеты. «Словом, — умозаключали авторы книги «Лицом к лицу с Америкой», — его речь строится по тому самому кем-то и где-то определенному плану: во что бы то ни стало переспорить, переспорить Н. С. Хрущева!» После обеда слово взял Хрущев. К этому времени, вспоминает Лодж, «от жары, вызванной погодой, низким потолком в помещении и обилием прожекторов, находиться в зале стало почти невыносимо»<sup>116</sup>. Тем не менее Хрущев был полон решимости переиграть Скураса. «Я начал работать, как только научился ходить. До пятнадцати лет я пас телят, потом овец, а потом коров у помещика... Потом работал на фабрике, принадлежавшей немцам, а потом — в шахте, принадлежавшей французам... а теперь я — премьер-министр великого Советского государства».

— Так мы и знали! — крикнул кто-то.

— И что с того? — воскликнул в ответ Хрущев. — Я своего прошлого не стыжусь!

Раскрытие своих скромных корней перед голливудскими знаменитостями, по всей видимости, принесло Хрущеву двойственные ощущения — и стыд, и удовлетворение. Он собирался, сообщил он слушателям, произнести «короткую и не слишком эмоциональную речь» — однако «не могу

молчать, когда кто-то наступает на мою любимую мозоль, пусть и через ботинок»<sup>117</sup>.

В Диснейленд Хрущева не пустили, заявив, что полиция Лос-Анджелеса не может гарантировать его безопасность, если только дирекция не согласится на время посещения советской делегации закрыть от посетителей весь огромный парк. Советская служба охраны согласилась с американцами, но это не смягчило удар<sup>118</sup>.

С мезонина, выходявшего на съемочную площадку номер 8 киностудии «Фокс», чета Хрущевых наблюдала съемки фильма «Канкан» с участием Фрэнка Синатры, Ширли Маклейн и Мориса Шевалье. Не выдержав, Хрущев спустился вниз: поначалу он широко улыбался, затем, спохватившись, постарался принять вид сурового достоинства. Телекамеры канала Кей-ти-эл-эй запечатлели его рядом с танцовщицами: выглядит он очень довольным. Однако фотографам, которые попросили одну из девушек приподнять юбки, Хрущев сделал выговор: «У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задками»<sup>119</sup>. На следующий день во время бурной встречи с лидерами профсоюзов Сан-Франциско, когда разговор перешел на повышенные тона, Хрущев встал, повернулся к собеседникам задом и, подняв полу пиджака, изобразил канкан. «Вот что у вас называется свободой — свобода показывать задницу! А у нас это называется порнографией!»<sup>120</sup>

«Она стояла рядом со мной, — вспоминал Хрущев, — и, видимо, тот тип просто хотел получить более пикантный снимок... Мы не привыкли к такому жанру и считали его непристойным. Почему же я на этом должен фокусировать свое внимание?... Фотографию же мы, кажется, получили»<sup>121</sup>. Раз Хрущев не отказался от «непристойной» фотографии — возможно, она не так уж его возмутила. Во всяком случае, у переводчика из Госдепартамента США Александра Акаловского, находившегося в это время рядом с Хрущевым, сложилось впечатление, что советский лидер «был в полном восторге»<sup>122</sup>.

Поскольку с Диснейлендом ничего не вышло, советская делегация убивала время до ужина, по его словам, практически бесцельно катаясь два часа по пригородам Лос-Анджелеса в бронированном «кадиллаке»<sup>123</sup>. В какой-то момент они заметили на тротуаре женщину, одетую в черное, с черным флагом и плакатом: «СМЕРТЬ ХРУЩЕВУ, ПАЛАЧУ ВЕНГРИИ!»

— Если Эйзенхауэр позволяет меня оскорблять, — раздраженно заметил Хрущев, — зачем он вообще пригласил меня в Соединенные Штаты?

— Неужели вы думаете, что этот протест согласован с президентом? — возразил Лодж.

— В Советском Союзе эта женщина могла бы появиться на улице только по моему распоряжению, — ответил Хрущев, едва ли понимая, насколько саморазоблачительно звучат его слова.

Эта встреча усилила его дурное расположение духа: Хрущев ворчливо заметил, что ничто в США его не удивило и не потрясло — он прекрасно знал, с чем здесь столкнется. Его разведка сообщает обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, даже о конфиденциальных посланиях Эйзенхауэра к главам других государств. Лодж, «наверное, и не знает», что во время китайско-индийского пограничного конфликта Эйзенхауэр направил секретное послание Неру. А он, Хрущев, не только знает, но и может «сделать для вас копию». Что же касается «мистера Аллена Даллеса» — Хрущеву приходится просматривать столько его «писанины», что, «право, иногда думаешь, лучше бы какой-нибудь хороший роман почитать»<sup>124</sup>.

В тот же вечер сливки Лос-Анджелеса собрались в балльном зале отеля «Амбассадор». «Обстановка была парадной, — писал позже сам Хрущев, — столы накрыты, зал нарядно убран, горели свечи». Справа от него сидела женщина средних лет, которая, «видимо, была как раз человеком богатым и обладала крупным капиталом, иначе не смогла бы попасть туда». Высказывалась она «по-доброму и в адрес делегации, и в мой лично», вспоминает Хрущев, однако «хотела посмотреть на гостя, как на экзотического медведя из России, где их по улицам водят. Ее удостоили сидеть с ним рядом, а он почему-то не рычит»<sup>125</sup>.

Хрущев и так был не в лучшем расположении духа, и мэр Лос-Анджелеса Норрис Поулсон, несомненно, совершил большую ошибку, в своей «приветственной» речи напомнив о его пресловутой фразе: «Мы вас похороним». «Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, — предупредил мэр, — и не стремитесь к этому. Если будет нужно, мы будем сражаться насмерть»<sup>126</sup>.

«Я возмущился, — вспоминал Хрущев. — Поскольку речь его адресовалась мне, я имел право сделать вид, что я не понял. Но решил демонстративно отреагировать и дать ему публично отпор, чтобы объясниться тут же»<sup>127</sup>. Начал он так: «Вы знаете, что я приехал сюда с добрыми намерениями, но некоторые из вас, по-видимому, не относятся к этому всерьез». Возможно, кому-то он сам и его делегация представляются «бедными родственниками, приехавшими просить ми-

ра». Может быть, его сюда пригласили, чтобы «поставить на место», показать... силу и мощь Соединенных Штатов, чтобы... колени подогнулись». Если так — его здесь ничто не держит. В конце концов, отсюда до СССР всего десять часов лету<sup>128</sup>.

По залу пробежал шепоток ужаса — слишком уж реальными выглядели угрозы Хрущева. Позже, у себя в роскошном «президентском» номере отеля, Хрущев сбросил пиджак и, собрав вокруг себя семью и помощников, принялся обсуждать с ними прошедший ужин. «Он не скупился на резкие фразы, — вспоминает Сергей Хрущев. — Временами голос его повышался до крика; казалось, ярость его не знает границ». Наконец он встал, смахнул пот со лба и приказал Громыко «идти к Лоджу и передать ему все, что я сейчас сказал».

Было уже далеко за полночь. Лодж диктовал ежедневную телеграмму Эйзенхауэру о событиях этого дня, когда к нему в номер постучался Громыко — в пиджаке и брюках поверх кальсон, растрепанный и явно смущенный. Нет сомнений, что он не стал передавать Лоджу послание своего патрона слово в слово<sup>129</sup>.

Позднее Хрущев объяснял свое поведение так: «Я-то как раз держал свои нервы в руках и просто выражал возмущение для ушей хозяев. Я ведь был убежден, что там поставлены подслушивающие аппараты и что Лодж, расположившийся в той же гостинице, слушает меня в своем номере»<sup>130</sup>.

То, что казалось «взрывом эмоционального человека», на самом деле представляло собой «холодный расчет», подтверждает Сергей Хрущев. Но если так, почему, когда Громыко отправлялся к Лоджу, его жена Лидия умоляла его: «Андрюша, будь с ним повежливее!» — а потом бросилась искать для Хрущева валерьянку? И чего «испугалась» дочь Хрущева Рада?<sup>131</sup>

Конечно, Хрущев хорошо понимал, что делает; но трудно сомневаться и в том, что он действительно испытывал гнев — гнев не только на американцев, но и на свой собственный промах. В конце концов, неудачная фраза «Мы вас похороним», которую теперь швыряли ему в лицо, действительно принадлежала ему. Это подтверждает и Аджубей: по его словам, «после всех многочисленных объяснений Хрущеву вновь навязывали эту тему, спекулировали на его оплошности — вот как он это понял»<sup>132</sup>.

Приступ ярости Хрущева принес некоторый положительный эффект: правда, на следующее утро никто из лос-анджелесской администрации не явился на вокзал его прово-

дить, но само путешествие поездом до Сан-Франциско прошло как нельзя лучше. «Мы решили организовать ваш маршрут по образцу поездок кандидатов в президенты», — объяснял Лодж. Так оно и получилось. В Санта-Барбаре и Сан-Луис-Обиспо «кандидат» целовал детей, любезничал с дамами, пожимал руки мужчинам и сиял улыбкой при аплодисментах толпы. «Видите, простым американцам я понравился! — гордо говорил он Лоджу. — Не нравлюсь я только ублюдкам из окружения Эйзенхауэра». Когда поезд проезжал мимо Ванденберга и из окон открылся вид на базу ВВС США, Хрущев воспринял эту «провокацию» совершенно спокойно — а потом «по секрету» сообщил журналистам, что «у нас таких баз больше, чем у вас, да и оборудованы они лучше»<sup>133</sup>.

Ко времени, когда поезд достиг Золотых Ворот, мэр Полсон остался для Хрущева лишь забавным воспоминанием. «Хотел пукнуть, да только штаны обмарал», — заметил о нем Хрущев Лоджу<sup>134</sup>.

Мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер встретил высокого гостя куда гостеприимнее, чем его лос-анджелесский коллега<sup>135</sup>. Запланированные мероприятия — в том числе посещение завода «Ай-би-эм» и торжественный банкет — прошли как нельзя лучше, хотя директор «Ай-би-эм» Томас Уотсон, выполняя рекомендации, полученные из Вашингтона, старался не улыбаться в ответ на шутки гостя. Хрущев совершенно успокоился и даже позволил себе выразить восхищение — не компьютерами «Ай-би-эм» (компьютеров, сказал он, и у нас хватает), а сияющими пластмассовыми покрытиями на столах в заводской столовой, так не похожими на вечно серые и заляпанные скатерти в заведениях советского общепита. «Смахиваешь крошки, протираешь тряпкой — и стол снова чистый!» — восторгался Хрущев<sup>136</sup>.

Единственным мероприятием, прошедшим не совсем гладко, стала встреча с президентом Объединения рабочих автомобильной промышленности Уолтером Рейтером и другими профсоюзными лидерами. Когда Хрущев обвинил Соединенные Штаты в эксплуатации других стран, ему ответили, что он сам эксплуатирует восточногерманских рабочих. «Имеете ли вы право говорить от лица рабочих всего мира?» — поинтересовался Рейтер. «А вы какое имеете право совать нос в Восточную Германию?» — отвечал Хрущев.

Собеседники заговорили на повышенных тонах, перебивая друг друга и перескакивая от темы к теме. «Болтаете такую чепуху — и уверяете, что представляете рабочих! — восклицал Хрущев, обращаясь к главе профсоюза портовых



грузчиков Джозефу Каррену. — Что у нас здесь — дискуссия или базар?»

— Вы, кажется, боитесь моих вопросов? — съязвил Рейтер.

— Ни черта я не боюсь! Велика вы птица — вас бояться! — презрительно отвечал Хрущев<sup>137</sup>.

И много лет спустя Хрущев оставался в обиде на Рейтера. «Этот человек предал классовую борьбу, — писал он, — он боролся за свою выгоду, а не за победу рабочего класса». На Хрущева произвел самое невыгодное впечатление председатель союза пивоварных рабочих, «старый и, похоже, выживший из ума», с золотыми часами на обеих руках; всю встречу он «пил пиво, лил его в себя, как в бочку, поедая абсолютно все, что лежало на столе», и производил впечатление «мещански ограниченного человека, с которым вести какие-либо разговоры бесполезно». Встреча с профсоюзными лидерами не была публичной (хотя впоследствии американцы опубликовали стенограммы выступлений), так что Хрущев позволил себе выпустить пар, не опасаясь реакции широкой публики. Как ни парадоксально, «предательство» американских рабочих он воспринял куда спокойнее, чем презрение могущественных капиталистов.

Из Сан-Франциско Хрущев отправился в Айову, на ферму к Росуэллу Гарсту. Журналисты осаждали Гарста и его гостя, не давая им покоя даже на кукурузном поле: кончилось тем, что взбешенный Гарст начал швырять в толпу репортеров кукурузными початками. Оттуда Хрущев вылетел в Питсбург, а затем, 24 сентября, вернулся в Вашингтон, чтобы отправиться оттуда в Кемп-Дэвид, где должно было определиться дипломатическое значение его путешествия.

25 сентября, в пятницу, после полудня, оба лидера великих держав вылетели на вертолете в Мэриленд. Эйзенхауэр был простужен и чувствовал себя «паршиво». Хрущев, плохо спавший прошлой ночью, с наслаждением вдыхал прохладный воздух Кейтоктинских гор. Поужинали ростбифом с красным перцем; затем Эйзенхауэр показал гостю документальный фильм о Северном полюсе, снятый с американской ядерной подводной лодки «Наутилус» — несомненная «шпилька», пусть и не такая грубая, как демонстрация фильмов о ядерных взрывах, которую устроил Хрущев для Тито. В полночь, пожелав друг другу спокойной ночи, оба политика разошлись по своим спальням.

На следующее утро Хрущев поднялся рано, надел брюки

и вышитую украинскую рубашку и вместе с Громыко отправился прогуляться по лесу, а заодно обсудить тактику переговоров (говорить об этом в помещении он опасался, предполагая, что там имеются подслушивающие устройства). За обильным завтраком с Эйзенхауэром в Аспен-Лодж в 8.15 утра советский руководитель много и оживленно рассказывал о своих военных приключениях, но почти ничего не ел. Позже он пожаловался Джону Эйзенхауэру на свои больные почки и другие недомогания<sup>138</sup>.

В 9.20 оба лидера и их ближайшие помощники начали обсуждение германской проблемы. Хрущев сразу заявил, что главная проблема — не в Берлине. Да и формального признания ГДР от Соединенных Штатов тоже не требуется. Им достаточно подписать с Западной Германией мирный договор, а СССР подпишет такой же договор с обеими Германиями. Эйзенхауэр отвечал столь же уступчиво: Соединенные Штаты не станут возражать против подписания Москвой договора с обеими Германиями, «если мы получим гарантию, что это не изменит нашего положения в Берлине». Однако Хрущев назвал это условие «неприемлемым». Он может гарантировать лишь то, что, став «вольным городом», Западный Берлин останется «мирным и процветающим». Но, возможно, стоит заключить промежуточное соглашение, которое «снимет с повестки дня берлинский вопрос, не нанося ущерба престижу США».

Хрущев напомнил Эйзенхауэру о происходящих в СССР реформах. Настойчиво, но не повышая голоса, он перечислил вопросы, по которым нынешнее правительство «изменило курс, принятый Сталиным», напомнил об отставке Молотова и других консерваторов, о повороте во внутренней политике и закрытии лагерей. И вот теперь он, лидер-реформатор, облеченный народным доверием и поддержкой, приехал в США, «чтобы улучшить отношения между нашими двумя странами, а также с вами лично». Слишком долго переговоры по ключевым вопросам — таким, как разоружение — «не сходили с мертвой точки». Что касается германской проблемы — до сих пор, когда о ней заходила речь, США смотрели на Советский Союз «свысока». Настало время для прорыва: именно стремясь к прорыву, советское правительство установило для решения берлинской проблемы временной срок.

После этой пространной и, по-видимому, искренней речи Эйзенхауэр предложил сделать получасовой перерыв. Хрущев пригласил президента прогуляться, но Эйзенхауэр отклонил предложение: «погода сегодня не слишком хоро-

ша», а он все еще чувствует себя больным и хотел бы использовать перерыв для посещения врача<sup>139</sup>.

После перерыва, за столом для игры в бридж в углу террасы, Эйзенхауэр представил своему собеседнику проект «постоянного консультационного механизма», включающего в себя регулярные саммиты и встречи министров иностранных дел — не только по Германии и Берлину, но и по многим другим вопросам. Предварительным условием для таких встреч являлся «отказ от односторонних действий, способных нарушить процесс мирных переговоров»<sup>140</sup>.

Хрущеву это предложение не понравилось. Что же получается — «ничего нельзя будет сделать, пока министры иностранных дел не покопаются в своих архивах»? Ведь это означает, что «решение проблем будет отложено лет на десять — пятнадцать, а то и навсегда». Говоря попросту, президент требует, чтобы Советский Союз не подписывал мирный договор с Германией. И кто же теперь ставит «ультиматум»?

Реакция Хрущева была понятна и объяснима, хотя и довольно наивна по форме. Да, ему нужен был «прогресс» по берлинскому вопросу — но кто сказал, что Эйзенхауэр обязан идти навстречу его желаниям? В конце концов, заметил президент, если он даже согласится по истечении какого-то срока уйти из Берлина, ему «придется немедленно выйти в отставку», ибо «это предложение неприемлемо для американского народа».

Собеседники помрачнели, хотя никто не повышал голоса. За обедом Никсон, желая снизить напряжение, спросил, как предпочитает охотиться Хрущев — с винтовкой или с ружьем. Вице-президент не знает, о чем говорит, раздраженно отвечал советский лидер: на птиц охотятся только с ружьем, на лосей и оленей — только с винтовкой. Досталось и Громыко, которого Хрущев обвинил в том, что тот «в магазине покупает» уток, которыми потом хвастает как своей охотничьей добычей. Громыко возразил: его жена бывала с ним на охоте и видела, как он стрелял уток, — на что Хрущев ответил, что и жене его не доверяет<sup>141</sup>.

Эйзенхауэр поспешил перевести разговор на другую тему: пожаловался, что ему и во время отпуска докучают непрерывными телефонными звонками, спросил, как с этим обстоит дело у Хрущева. Тут Хрущев, «совершенно разъярившись», объявил, что у него на даче телефоны установлены даже на пляже, где он купается, и что он может нас заверить, очень скоро в СССР телефонов станет больше и они будут лучше, чем в Америке»<sup>142</sup>.

Хрущев готов был взорваться. Эйзенхауэр, вспоминает советник Белого дома по научным вопросам Джордж Кистяковский, «был очень сердит и с трудом держал себя в руках». Громыко и его помощники «сидели с каменными лицами»<sup>143</sup>.

После обеда президент отправился вздремнуть. Хрущев тем временем мрачно мерил шагами сад. Выйдя из дому около четырех часов дня, президент пригласил гостя посетить его ферму в Геттисберге. В президентском вертолете «все были погружены в уныние, — писал позднее Кистяковский. — Было чувство, что переговоры закончились полным провалом и скорее ухудшили, чем улучшили отношения между двумя странами»<sup>144</sup>.

Но Геттисберг помог разрядить напряжение. Хрущев восхитился домом Эйзенхауэра («дом богатого человека, но не миллионера»), его скотом (одного бычка президент попросил «прямо здесь и сейчас» принять в подарок) и его внуками (которых Хрущев пригласил в СССР вместе с дедом). В половине седьмого, когда оба лидера вернулись в Кемп-Дэвид на коктейль и ужин, Хрущев казался «куда более спокойным и довольным»<sup>145</sup>.

Однако на следующее утро после завтрака все началось сначала. Заместитель госсекретаря Дуглас Диллон заверил Хрущева, что товары, в импорте которых заинтересована Москва (в том числе оборудование для производства обуви), не имеют стратегического значения и потому доступны для продажи. В ответ Хрущев заявил, что приехал в Соединенные Штаты «не для того, чтобы учиться тачать ботинки или делать колбасу». Это советский народ и так умеет, «может, еще получше американцев». А если мистер Диллон в этом сомневается, пусть взглянет на ботинки Хрущева и увидит сам<sup>146</sup>.

В десять пятнадцать президент и председатель Совета министров вместе со своими помощниками снова сели за стол переговоров. Сперва беседа коснулась ядерной войны (причем Хрущев заявил, что не боится ее, а Эйзенхауэр ответил: «А я боюсь — и считаю, что всем нам следует ее бояться»), затем советский лидер упомянул о Китае. Вместо того чтобы сыграть на советско-китайских разногласиях, Эйзенхауэр повторил стандартные американские обвинения в адрес Китая, вынудив Хрущева принять сторону своего союзника; взгляды руководителей СССР и США на Китай, — заметил, выслушав его, президент, — настолько расходятся, что «нет смысла обсуждать вопрос подробнее». Единственным результатом этого разговора стала реплика

Хрущева, вскоре обострившая его и без того натянутые отношения с Мао: он заявил, что ничего не знает о пятерых американских летчиках, которых Пекин держит в заключении, однако пообещал «выяснить этот вопрос с китайским руководством»<sup>147</sup>.

Но что будет с Берлином и всей Германией? В конце концов двое лидеров вроде бы пришли к соглашению. Хрушев отозвал свой ультиматум, а Эйзенхауэр заявил, что готов к переменам в положении Берлина. Как подытожил Эйзенхауэр, Соединенные Штаты «не пытаются удержать берлинскую ситуацию в ее нынешнем состоянии, а господин Хрушев соглашается не выдавливать западные державы из Берлина силовыми методами»<sup>148</sup>. Кроме того, президент согласился участвовать в четырехсторонней конференции лидеров мировых держав — от чего в предшествующие несколько месяцев отказывался, требуя предварительного достижения дипломатического прогресса. Теперь же он заявил, что «достижение ситуации, в которой он не должен действовать под давлением, может рассматриваться как прогресс»<sup>149</sup>.

Договорившись об этом, двое лидеров тут же снова заспорили — на сей раз из-за совместного коммюнике. Эйзенхауэр предложил обойтись без коммюнике, поскольку переговоры были заявлены как неформальные. Хрушев настаивал на демонстрации результатов. После обеда он потребовал, чтобы из текста была исключена главная его уступка — отказ от ультиматума по Берлину. По существу он на это согласен, заявил Хрушев, но опасается, что включение этого пункта в коммюнике приведет к «предвзятым и неверным истолкованиям», особенно со стороны Аденауэра, который хотел бы затянуть переговоры лет на восемь и теперь начнет кричать о своей «великой победе»<sup>150</sup>.

Теперь взорвался Эйзенхауэр: «С меня хватит! Если так, я не поеду ни на саммит, ни в Россию!»<sup>151</sup> Президент твердо стоял на своем, и Хрушев предложил компромисс: Эйзенхауэр устно сообщит о том, что фиксированный срок решения берлинской проблемы отменен, а он (Хрушев) не станет это опровергать. Президент неохотно согласился.

Установленное время визита подошло к концу: двое лидеров уже выбились из расписания. На лимузине президента они поспешили в Вашингтон, пожали друг другу руки на ступенях Блэр-Хауз, где остановился Хрушев, тепло попрощались до следующей весны. Тем же вечером Хрушев обратился к американцам по телевидению: назвал их «добросердечным и дружелюбным народом», а президента (который уже назвал Хрущева «своим другом») — «человеком, который искренне

желает улучшения отношений между нашими странами», и заключил по-английски, с сильным акцентом: «До свидания! Удачи, друзья!»

В тот же вечер советская делегация вылетела в Россию.

Не отрицать, что ультиматум, по крайней мере на время, отменен — вот все, на что согласился Хрущев в Кемп-Дэвиде. Неудивительно, что у Эйзенхауэра «был вид человека, который побывал в проруби: он вымок, и с него стекает вода»<sup>152</sup>. Но чего достиг Хрущев? Согласия Эйзенхауэра на четырехсторонние переговоры было недостаточно: требовалось еще согласие его союзников. И все же Хрущев наслаждался своим триумфом<sup>153</sup>. В сущности, слово «триумф» слишком слабо для того, как было обставлено в СССР его путешествие и торжественное возвращение домой. Он не просто позволил советской пропагандистской машине нарисовать фантастическую картину своих состоявшихся достижений и будущих перспектив, но и сам в это поверил.

Утомительное путешествие по Америке было окончено. Впереди ждала столь же изнурительная поездка в Китай. Однако даже в самолете Хрущев не стал предаваться отдыху: едва Ту-114 поднялся в воздух и взял курс на Москву, глава государства вызвал двух стенографисток и принялся за работу. Через час после прибытия, в 16.00 по московскому времени, он должен был «отчитаться» о своей поездке перед тысячами москвичей на стадионе «Лужники».

Во Внуковском аэропорту Хрущева встречал весь Президиум. И не только Президиум: казалось, здесь собрался едва ли не весь партийно-государственный аппарат вместе с дипломатическим корпусом. Пионеры преподнесли Хрущеву и его родным букеты цветов. Десятки тысяч москвичей махали из окон многоэтажек правительственному кортежу, мчавшемуся по Ленинскому и Ломоносовскому проспектам. «Я видел, какой гордостью светилось лицо Хрущева, — вспоминает Аджубей. — Он даже отказался заехать отдохнуть после полета»<sup>154</sup>.

Толпы москвичей ожидали Хрущева на стадионе. После исполнения гимна СССР и приветствия от первого секретаря Московского горкома с приветственными речами выступили: рабочий автомобильного завода («Никита Сергеевич с мощью ледокола разбивает лед холодной войны»), знатная доярка («Тучи холодной войны рассеиваются; и жить, и трудиться становится веселее»), академик и студент — «от лица всей советской молодежи»<sup>155</sup>.

В своей речи, ровно пятьдесят раз прерванной бурными аплодисментами, Хрущев обещал слушателям новую эру мира и процветания. Эйзенхауэр, сказал он, проявил «государственную мудрость», «мужество и решимость». Президент пользуется «полной поддержкой своего народа» (заявление, радикально противоречащее официальной коммунистической пропаганде). Разумеется, Эйзенхауэр и Хрущев не могли «решить все проблемы холодной войны за один присест». «Силы зла» в Америке «вертятся, как черти на раскаленной сковороде», чтобы не допустить улучшения отношений между двумя странами. Однако президент «искренне желает положить холодной войне конец» и «готов употребить все свои силы на достижение между нашими странами соглашения».

Хрущев совершил серьезную политическую ошибку — возбудил у народа ожидания, которые едва ли могли исполниться. Однако психологически его слова очень понятны. По свидетельству сына, после путешествия в Америку он находился в такой «эйфории», что надеялся разрешить все противоречия с Китаем, просто обменявшись несколькими словами с Мао<sup>156</sup>.

Переговоры с китайцами обернулись полным провалом, но это Хрущева не смутило — напротив, упрочило желание доказать, что его «личная дипломатия» приносит достойные плоды. Самым драматическим следствием этой эйфории стало заявление Хрущева в январе 1960 года о сокращении Советской Армии еще на миллион человек. Кроме того, он предсказал, что вопрос Западного Берлина будет улажен «на основе мирного соглашения». А в феврале Политический консультативный совет стран Варшавского договора объявил, что мир вошел в «фазу переговоров», призванных уладить все «глобальные международные проблемы»<sup>157</sup>.

Если бы такие заявления делались только «для внешних» целей, их можно было бы списать на пропаганду. Однако то же самое говорилось и дома, особенно с началом подготовки к ответному визиту Эйзенхауэра. Предполагалось, что президент США прибудет 10 июня, проведет в России неделю, посетит Москву, Ленинград, Киев и Иркутск, затем поплывет на корабле вниз по Ангаре и 19 июня морем прибудет в Токио.

За подготовкой к приему высокого гостя надзирал лично Хрущев. Обычно он скупился на строительство правительственных зданий и дач для элиты, однако теперь распорядился возвести новые роскошные особняки везде, где будет останавливаться президент. Одну из таких построек — деревянный охотничий домик на берегу Байкала — местные

жители до сих пор называют «Эйзенхауэровой дачей». Твердо решив превзойти то гостеприимство, которое было оказано ему в Кемп-Дэвиде, Хрущев не знал, где принимать гостя: у себя на подмосковной даче или в новом правительственном доме для гостей в Огареве. Дача больше похожа на Кемп-Дэвид — ведь это загородное владение самого Хрущева: однако в ней маловато ванных комнат.

Гольф в Советском Союзе был неизвестен, но Хрущев приказал разбить одно поле для гольфа — специально для высокого гостя. Когда Эйзенхауэр высказал пожелание передвигаться по СССР на собственном самолете, Хрущев пошел на это, проигнорировав возражения военных. КГБ опасался, что с самолета будут сделаны фотографии советских мостов, шоссе и железных дорог — и опасался справедливо: в днище президентского самолета, стоявшего в секретном ангаре на военно-воздушной базе Эндрюз, уже вделали фотокамеры с высоким разрешением<sup>158</sup>.

В основном приготовления к визиту Эйзенхауэра велись без огласки: но кое-что доходило и до простых людей. Целые районы в Москве и Ленинграде подвергались косметическому ремонту: в срочном порядке укладывался новый асфальт, перекрашивались фасады и т. п. Полную перестройку осуществили и в маленькой деревушке в глубине страны, в которую как-то заехал один американский дипломат. Деревня лежала вдалеке от утвержденных маршрутов Эйзенхауэра; однако вдруг президент захочет туда заглянуть? «Пусть приезжает, — говорил председатель местного сельсовета, — мы его примем так, как ни одного вождя в Советском Союзе не принимали!»<sup>159</sup>

Много десятилетий москвичи предпочитали не звонить по телефону американцам, живущим в Москве, опасаясь прослушивания. Теперь американцы вдруг начали получать от своих советских друзей звонки с предложениями встретиться. Искренний энтузиазм советских граждан на глазах перерастал в проамериканские настроения: сообразив это, чиновники от идеологии забили тревогу. Образ Соединенных Штатов как «классового врага», тщательно культивируемый сорок лет, расплылся на глазах.

По словам Сергея Хрущева, его отец тоже был обеспокоен. «Теперь все его надежды связывались с приближающимся саммитом и еще более — с визитом президента Эйзенхауэра в Советский Союз». Он заложил фундамент новой эры, и «было особенно важно не споткнуться с первого же шага, когда нервы у всех натянуты. Одно неловкое движение, один неверный шаг — и все его труды пойдут прахом»<sup>160</sup>.